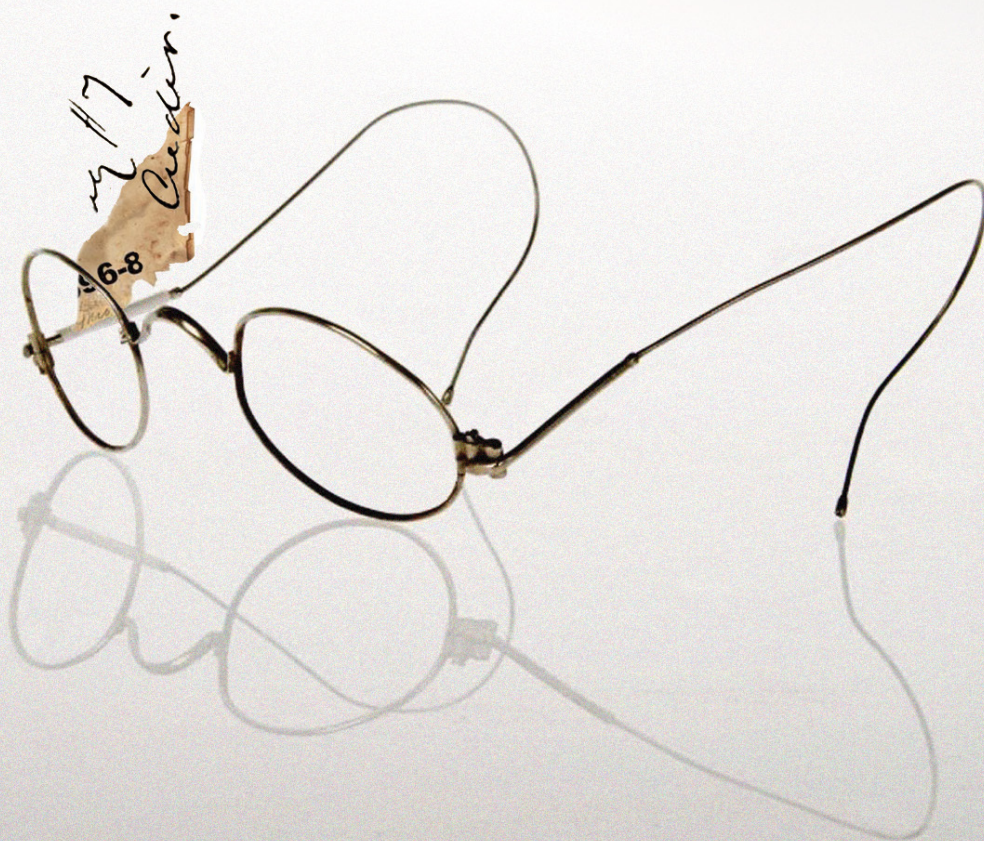


АНТАЛ СЕРБ

Путник и лунный Свет



Антал Серб

Путник и лунный свет

«Водолей»

УДК 84 (4Вн) 6-5
ББК 821.51

Серб А.

Путник и лунный свет / А. Серб — «Водолей»,

ISBN 978-5-91763-420-3

В 1937 году, вслед за итальянскими путевыми заметками «Третья башня» (Nyugat, 1936) и захватывающим исследованием о природе романа «Будни и чудеса» (1936), Антал Серб (1901–1945) на одном дыхании пишет второй – культовый на родине – роман, герой которого «неумышленно, но не нечаянно» в самом начале свадебного путешествия разминулся с женой... Погоня за несбывшимся, наития, смешная и печальная *commedia dell'arte* в декорациях Италии – муссолиниевской и вечной; полное нелепых совпадений странствие души в мире, над которым уже, как над тем пештским кабаком в юности, катастрофа «висит как люстра». Очень русская своей приструнивающей пафос иронией вещь – впервые по-русски.

УДК 84 (4Вн) 6-5

ББК 821.51

ISBN 978-5-91763-420-3

© Серб А.

© Водолей

Содержание

Часть первая	6
1	6
2	8
3	9
4	13
5	30
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Антал Серб

Путник и лунный свет

Издательство благодарит художника Сергея Маслобойщикова и Венгерский дом переводчиков.

© М. Цесарская, перевод 2018

© Издательство «Водолей», 2018

Часть первая

Свадебное путешествие

Lázongva vallok törvényt és szabályt.

S most mi jön? Várom pályabéremet, Mert befogad s kiteszít a világ¹.

Villon

(ford.: Szabó Lőrinc)

1

В поезде ещё всё было хорошо. Началось в Венеции, с переулков. Ещё когда по дороге с вокзала их катер свернул с Канале Гранде, чтобы сократить расстояние,

Михай заметил переулки справа и слева. Но тогда они ещё особо не занимали его, поначалу его целиком поглотила венецианскость Венеции: вода между домов, гондолы, и розово-кирпичная радость лагуны и города. Михай ведь был сейчас в Италии впервые, тридцати шести лет, в свадебном путешествии.

За время подзатянувшихся странствий где он только не побывал, в Англии и во Франции жил годами, а Италии всегда избегал, чувствовал, что не время ещё, что не готов он ещё к ней. Италию он откладывал на потом, вместе с другими взрослыми вещами, вроде обзаведенья потомством, и даже тайно боялся её, как боялся солнцепёка, запаха цветов и очень красивых женщин.

Не женись он, не вознамерься зажить настоящей супружеской жизнью, со свадебным путешествием в начале, то так, наверно, и тянул бы с поездкой в Италию до самой смерти. Он и сейчас не то чтоб поехал в Италию, а поехал в свадебное путешествие, совсем другое дело. Да теперь, собственно, уже и можно было, ведь теперь он муж. Теперь, думал он, напасть, что была Италией, уже миновала.

Первые дни прошли мирно, в радостях свадебного путешествия и скромном, неизнурительном осмотре города. Как принято у людей очень интеллигентных, с огромным запасом самокритичности, Михай и Эржи старались найти середину между снобизмом и снобизмом навыворот. Не загоняли себя до смерти, исполняя всё, чего требует бедкер, но ещё менее хотели походить на тех, кто по возвращении домой хвастают: музеи... ну, по музеям мы, разумеется, не ходили – и переглядываются гордо.

Как-то вечером они были в театре, и когда вернулись в холл гостиницы, Михай вдруг захотелось выпить чего-нибудь. Чего именно, он толком не знал, скорее всего какого-нибудь сладкого вина, припомнился особенный классический вкус самосского вина, он часто пивал его в винной лавке по Круа де Пети Шам 7, в Париже, и подумал, что Венеция в некотором роде уже почти что Греция, и тут наверняка найдётся самосское или, скажем, мавродафне, с итальянскими винами он ещё не разобрался. Попросил Эржи, чтоб она поднялась без него, он ненадолго, только выпьет чего-нибудь – всего один стакан, не больше – сказал он серьёзная, на что Эржи с такой же напускной серьёзностью призвала его к умеренности, как полагается молодой жене.

¹ Бунтуя чту обычай и закон. И что ж теперь? Жду воздаянья, раз Мир обнял и выталкивает вон. (*Франсуа Вийон в переложении Лёринца Сабо.*)

Отдалившись от Канале Гранде, по ходу которого располагалась их гостиница, он очутился среди улиц вокруг Фреццери, где и в ночное время бродило множество венецианцев, с особой присущей жителям этого города муравьиностью. Люди ходят тут лишь по определённым маршрутам, как муравьи, когда отправляются в странствие поперёк садовой дорожки; прочие улицы остаются пустыми. Михай тоже держался муравьиного пути, полагая, что бары и фиасчеттерии, скорее всего, должны располагаться на людных улицах, а не в сомнительном сумраке пустых. И в самом деле нашлось множество мест, где можно было выпить, но всё это было не то. В каждом был какой-то изъян. В одном публика была чересчур изысканна, в другом чересчур проста, и ни одно не ассоциировалось с искомым напитком. Вкус у напитка был куда припрятанней, что ли. Понемногу он уверился, что держат его конечно же в одном единственном месте в Венеции, и что привести туда его должен инстинкт. Так он очутился в переулках.

Узкие-преузкие улочки ветвились узкими-преузкими улочками, и улочки эти, куда ни сверни, оказывались всё уже и всё темней. Расставив руки, он мог коснуться стен сразу по обе стороны их, безмолвных домов с большими окнами, за которыми, думал он, дремлют таинственно интенсивные итальянские жизни. Так близко, что ходить по этим улицам ночью казалось едва ли не бестактным.

Что за чары и экстаз объяли его здесь, среди переулков, откуда взялось это чувство, что наконец-то он вернулся домой? Наверно, что-то похожее могло привидеться ребёнку – ребёнку, который был жителем особняков с садом, но страшился всего просторного – может, это подростку хотелось жить в такой вот тесноте, где каждые полквдратных метра имеют свой смысл, десять шагов означают нарушение границы, десятилетия минуют за ветхим столом, человечьи жизни в кресле; хотя как знать.

Так он слонялся среди переулков, пока до него не дошло, что светает, и что он на противоположной стороне Венеции, на Новом берегу, откуда виден кладбищенский остров и таинственные острова за ним, и среди них остров *Сан-Франческо дель Дезерто*, где был когда-то лагерь прокажённых, и совсем уже издали дома Мурано. Там жили бедные венецианцы, те, кого выгоды туризма касались куда меньше и лишь отдалённо, здесь была больница, отсюда отчаливали гондолы мёртвых. Кто-то уже просыпался и шёл на работу; и мир был немислимо безотраден, как после бессонной ночи. Он нашёл гондольера, который отвёз его домой.

Эржи давно была вне себя от тревоги и усталости. Лишь в половине второго ей пришло в голову, что вопреки всей очевидности, и в Венеции несомненно тоже можно позвонить в полицию, что она и сделала с помощью ночного портъе, бестолку, разумеется.

Михай всё ещё был как лунатик. Он страшно устал, и вразумительно ответить на вопросы Эржи не сумел.

– Переулки, – сказал он, – надо же было когда-нибудь увидеть переулки ночью, разве можно упустить, все ведь так.

– Но почему же ты не сказал, или почему не взял меня с собой?

Михай не нашёлся, что ответить, с обиженной миной улёгся в постель и с очень горьким чувством уснул.

Это и есть супружество, думал он, неужели она настолько не понимает, и так тщетны попытки объяснить что бы то ни было? Хотя я и сам не понимаю.

2

Но Эржи не заснула, долго лежала, наморщив лоб, руки за голову, и размышляла. Женщины обычно легче переносят бессонницу и размышленья. Для Эржи не было ново или удивительно, что Михай делает и говорит вещи ей непонятные. Некоторое время она успешно скрывала это своё непонимание, мудро не приставала с расспросами, и делала вид, будто ей заведомо ясно всё, что связано с Михаем. Она знала, что это ложное превосходство без слов, о котором Михай думает, что оно у женщин от природы, инстинктивная мудрость, сильнейшее средство для удержания Михая. Михай был полон страхов, и роль Эржи успокаивать его.

Но всему есть предел, и вообще, они ведь уже муж и жена, в нештучном свадебном путешествии, и странно всё же в такое время пропадать всю ночь. На миг у неё даже мелькнула простая женская мысль, что Михай, может быть, развлекался в компании другой женщины, но затем она отмела её, как полную нелепость. Не говоря уже об абсолютном неприличии подобного, ей ли не знать, до чего робок и опаслив Михай со всякой незнакомой женщиной, до чего он остерегается болезней, до чего ему жалко денег, и как мало занимают его женщины вообще.

Хотя знать, что Михай был всего-навсего у какой-то там женщины было бы даже успокоительно. Кончилась бы эта зыбкая, насквозь пустая тьма, невообразимость того, где и как Михай провёл ночь. Вспомнился первый её муж, Золтан Патаки, которого она бросила ради Михая. Эржи всегда знала, с которой из барышень-машинисток он как раз близок, а ведь Золтан был так судорожно, до краски, трогательно осмотрителен, и чем больше ему хотелось что-нибудь скрыть, тем для Эржи всё было очевидней. Михай ровно наоборот: вечно он с тягостной дотошностью тщился растолковать ей всякое свое движение, до умопомраченья желал, чтоб Эржи знала его всего, и чем дольше он объяснял, тем выходило путаней. Эржи давно знала, что не поймёт Михая, потому что у Михая есть тайны, в которых он и сам себе не сознается, и Михай не поймёт её, потому что ему и в голову не пришло бы озадачиться чьей либо внутренней жизнью, кроме собственной. И тем не менее они поженились потому, что Михай заключил, что они в совершенстве понимают друг друга, что брак их зиждется на целиком разумной основе, а не на преходящих влеченьях. До каких же пор можно ещё цепляться за эту фикцию?

3

Несколькими днями позже, к вечеру они добрались до Равенны. Утром Михай встал очень рано, оделся и ушёл. Хотелось одному посмотреть византийские мозаики, главную достопримечательность Равенны, ведь он уже знал за собой столько всего, чего с Эржи не разделишь, вот и это тоже. В искусстве Эржи была куда подкованней и чутче, и бывала уже в Италии, так что Михай обычно полагался на неё, что им смотреть и что думать, когда смотришь, картина могла взволновать его лишь изредка, случайно, вроде молнии, одна из тысячи. Но равеннские мозаики... то были экспонаты его собственного прошлого.

Когда-то они смотрели их вместе, с Эрвином, Тамашем Ульпиусом и Евой, младшей сестрой Тамаша, в большой французской книге у Ульпиусов, с нервным и неизъяснимым страхом, одной рождественской ночью. В соседней огромной комнате одиноко расхаживал отец Тамаша Ульпиуса. Облокотясь о стол, они рассматривали картины, и золотой фон картин блеснул им навстречу как неизвестный источник света из глубины шахтного ствола. Было в византийских картинах что-то, что растормошило в них спящий на самом дне души ужас. Без четверти двенадцать оделись и отправились на полуночное богослужение. С Евой случился обморок тогда; то был единственный случай, когда Еву подвели нервы. Потом целый месяц всё было Равенной, и Равенна и по сей день оставалась в Михеае страхом неопределимой породы.

Всё это, весь очень затонувший месяц поднялся в нём сейчас, покуда он стоял в соборе Сан-Витале перед дивной светло-зелёных тонов мозаикой. Ударило юностью, аж голова закружилась, и пришлось опереться о колонну. Но лишь на миг, и он очнулся к обычной серьёзности.

На прочие мозаики и не взглянул. Вернулся в отель, дождался, пока Эржи соберётся, после чего они вдвоём с толком осмотрели и обсудили всё что полагалось осмотреть. Михай, конечно, смолчал, что с утра успел уже побывать в Сан-Витале, слегка стыдась, боком, как будто боялся быть уличённым, прошмыгнул в церковь, и сказал, ничего особенного, чтобы отыгаться за утреннее смятение.

На другой день вечером они сидели на маленькой пьядце, перед кофейней, Эржи ела мороженое, Михай попробовал какой-то незнакомый ему горький напиток, но остался недоволен, и ломал голову, чем бы перебить вкус напитка.

– До чего мерзкий запах, – сказала Эржи. – Куда не ткнишь в этом городе, повсюду этот запах. Такой я представляю себе газовую атаку.

– Ничего удивительного, – сказал Михай. – У этого города трупный запах. Равенна декадентский город, больше тысячи лет непрерывного упадка. В бедкере, и то пишут. Пережила три расцвета, последний в восьмом веке после Христа.

– Что за блажь, – сказала Эржи с улыбкой. – Вечно у тебя трупы и трупный запах на уме. Вонь-то как раз от жизни, от достатка: это запах завода искусственных удобрений, завода, на который живёт вся Равенна.

– Равенна на искусственные удобрения? Город, где похоронены Теодорих и Данте, город, перед которым Венеция парвеню?

– Да, старик.

– Свинство.

В этот миг на пьядцу с грохотом въехал мотоциклет, и сидящий на нем человек в очках и чрезвычайно мотоциклетной экипировке спрыгнул с него как с лошади. Огляделся, заметил Михеа с Эржи и двинулся напрямик к их столику, ведя свое двухколесное рядом с собою, как лошадь. Дойдя до столика, он как забрало шлема приподнял очки и произнёс:

– Здравствуй, Михай. Я к тебе.

– Михай к величайшему своему изумлению узнал Яноша Сепетнеки. От неожиданности он не нашёлся что сказать, кроме как:

– Откуда ты узнал, что я здесь?

– В Венеции в гостинице сказали, что ты выехал в Равенну. Где ж еще можно найти в Равенне человека после ужина, как не на пьяцце? Я прямиком из Венеции. И сейчас присяду немного.

– Э... представлю тебя моей жене, – сказал Михай нервно. – Эржи, этот господин Янош Сепетнеки, мой бывший одноклассник, о котором... я, кажется, никогда ещё тебе не говорил. – И сильно покраснел.

Янош с беззастенчивой неприязнью смерил Эржи, поклонился, протянул руку, и далее присутствием её не озабочивался. И вообще молчал, только лимонаду заказал.

Пока наконец Михай не заговорил.

– Ну говори. Была же у тебя какая-то причина разыскивать меня тут в Италии.

– Потом скажу. Главное, повидаться хотелось, ты ведь женился, я слышал.

– Я думал, ты всё ещё злишься на меня, – сказал Михай. – Последний раз мы виделись в Лондоне, в венгерском посольстве, ты тогда вышел из зала. Хотя, конечно, теперь тебе не за что больше злиться, – продолжал он, видя, что Янош не отвечает. – Взрослеем. Взрослеешь, и забываешь понемногу, за что же ты десятилетиями злился на кого-то.

– Говоришь, как будто знаешь, за что я на тебя злился.

– Конечно же, знаю, – сказал Михай и опять покраснел.

– Знаешь, так скажи, – сказал Сепетнеки воинственно.

– Не хочется тут... при жене.

– Мне всё равно. Валяй, смелее. Как ты думаешь, отчего я в Лондоне не стал с тобой разговаривать?

– Оттого, что мне в голову пришло, что когда-то я думал, что ты украл у меня золотые часы. С тех пор я уже знаю, кто их украл.

– Вот видишь, какой ты осёл. Я украл у тебя золотые часы.

– Так всё-таки ты?

– Я, кто ж ещё.

Эржи и до этого беспокойно ёрзала, ибо прибегнув к своему знанию людей, давно уже прочла по лицу и рукам Яноша Сепетнеки, что этот человек имеет обыкновение время от времени красть золотые часы, и нервно прижимала к себе ридикюль с паспортами и дорожными чеками. Её изумило, и неприятно задело, что всегда такой деликатный Михай припомнил этот инцидент с часами, но тишину, которая наступила сейчас, невозможно было вынести, ту тишину, когда один говорит другому, что украл у него золотые часы, а потом оба молчат. Она встала и сказала:

– Пойду я в гостиницу. У господ такой разговор...

Михай крайне раздраженно взглянул на неё.

– Оставайся здесь. Теперь ты моя жена, теперь и тебя всё касается... – И перейдя на крик, обернулся к Сепетнеки:

– Так почему же ты мне тогда в Лондоне руки не подал?

– Сам прекрасно знаешь, почему. Не знал бы, не кипятился б тут. Сам знаешь, что я был прав.

– Ясней говори.

– Не понимать человека, это как раз по твоей части, как и не находить тех, кого ты потерял из виду, да и не искал. За то я и злился на тебя.

Михай молчал некоторое время.

– Ну если тебе повидаться хотелось... мы ведь виделись в Лондоне.

– Да, но случайно. Это не в счёт. К тому же ты прекрасно знаешь, что речь не обо мне.

– Если о других... То напрасно бы я искал их...

– Потому и не искал, да? А может, стоило лишь руку протянуть. Но теперь у тебя есть ещё один шанс. Слышь? Кажется, я нашёл Эрвина.

Михай разом переменялся в лице. Гнев и изумление уступили место радостному любопытству.

– Не говори! Где же он?

– Точно не знаю, но в Италии, в одном из монастырей Умбрии или Тосканы. Я видел его в Риме, во время крестного хода, с другими монахами, их много было. Я не мог подойти, из-за ритуала. Но там был один мой знакомый священник, от него я узнал, что это монахи одного умбрийского или тосканского ордена. Это я хотел сказать тебе. Раз уж ты тут в Италии, помог бы с поисками.

– Да. Спасибо. Хотя не знаю, стану ли. Не знаю даже как. И потом я тут в свадебном путешествии, не объезжать же мне подряд все монастыри Умбрии и Тосканы. И как знать, хочет ли Эрвин повидаться со мной. Хотел бы, давно бы известил о своем местопребывании. А теперь уходи, Янош Сепетнеки. Надеюсь, еще пару лет не увидимся.

– Иду, иду. Жена у тебя на редкость противная.

– Я твоего мнения не спрашивал.

Янош Сепетнеки сел на свой мотоциклет.

– За лимонад мой расплатись, – обернувшись прокричал и исчез в наступившей уже темноте.

Супруги остались одни, и долго молчали. Эржи было досадно, и при этом она ощущала комизм положения. Повстречались, одноклассники... Похоже, Михая всерьёз глубоко задевают эти школьные истории. Расспросить бы при случае, кто был этот Эрвин и этот Тамаш... хотя они такие противные. Она вообще не любила молодых и полуготовых.

Но досадно ей было вовсе не из-за этого. Конечно же, ей было досадно, что она так не понравилась Яношу Сепетнеки. Не то, чтоб ей хоть в малейшей степени важно было, что думает о ней эдакое... эдакая сомнительная персона. Хотя с другой стороны, нет для женщины на свете вещи более роковой, чем мнение друзей мужа. Мужчины невероятно подвержены влиянию, если речь о женщине. Правда, Сепетнеки Михая не друг. То есть в конвенциональном смысле слова не друг, но похоже, что-то всё-таки накрепко связывает их. И вообще, даже самый мерзкий мужчина способен повлиять на другого мужчину в таких вещах.

– Чёрт побери, чем я ему не понравилась?

По сути дела Эржи и впрямь не привыкла к подобному. Она была богата, миловидна, хорошо одета, эффектна, мужчины находили её притягательной, ну, располагающей к себе, по меньшей мере. Она знала, что в привязанности Михая тоже большую роль играет то, что любой мужчина говорит о ней с одобрением. Часто она даже подозревала, что Михай и не своими вовсе глазами смотрит на неё, а глазами остальных. Как будто говорит про себя: до чего б я любил бы эту Эржи, будь я таким, как все. И вот является этот подонок, и она ему не нравится. Держал бы себе язык за зубами, так нет.

– Скажи, будь добр, чем я не понравилась твоему другу, карманному вору?

– Михай улыбнулся.

– Ну что ты. Не ты ему не понравилась. Ему не понравилось, что ты моя жена.

– Почему?

– Потому что он думает, что из-за тебя я совершил предательство по отношению к своей юности, нашей общей юности. Забыл про тех, кто... И что строю свою жизнь на иных отношениях. А ведь... И сейчас ты конечно, скажешь, что ну и друзья у меня. На что я мог бы возразить, что Сепетнеки мне не друг, что, конечно, было бы лишь попыткой увильнуть... Но... как бы это сказать... бывают и такие люди... Кража часов была ребяческой разминкой. Сепетнеки с тех пор уже процветающий мошенник, и случалось у него много денег, и он навязывал мне разные суммы, которые я не мог вернуть ему, потому что не знал, где его носит, он и в

тюрьме уже успел побывать, и писал мне из Байи, чтоб я выслал ему пять пенгё. И время от времени появляется, и каждый раз говорит какую-нибудь крупную гадость. Но говорю же, и такие бывают. Не знала, так увидела по крайней мере. Скажи, нельзя ли тут купить где-нибудь бутылку вина, выпили б у себя в номере? Надоела уже эта публичная жизнь тут на пьядце.

– Можно и у нас гостинице купить, в ресторане.

– А скандала не будет, если мы её в номере выпьем? Это можно?

– Михай, ты меня в гроб загонишь своими страхами перед официантами и портье.

– Я ведь уже объяснял тебе. Говорил, что они самые взрослые люди на свете, и что за границей мне тем более не хотелось бы делать чего-то, что не по правилам.

– Ладно. Но пить-то зачем опять?

Мне непременно нужно выпить чего-нибудь. Я хочу рассказать тебе, кто был и как умер Тамаш Ульпиус.

4

Я должен рассказать тебе о том, что случилось давным-давно, это очень важные вещи. Важные вещи обычно случаются давным-давно. И пока ты их не узнаешь, до тех пор, не обижайся, ты в каком-то смысле так и останешься пришлой в моей жизни.

В гимназические годы главным моим развлечением были прогулки. Или скорее бродяжничество, наверно. Речь ведь о подростке, так оно верней. Я открывал Пешт частями, одну за другой, систематически. У каждой части города и даже у отрезка улицы был для меня свой особый настрой. Кстати меня и сейчас развлекают дома, точь-в-точь как тогда. В этом я не стал взрослей. Дома об очень многом говорят мне. Они мне как раньше природа была для поэтов, то есть как то, что они называли природой.

Но больше всего я любил будайскую крепость. Её старые улицы не могли мне наскучить. Старое и тогда влекло меня сильнее нового. Глубинную реальность в моих глазах имело лишь то, что вобрало уже много-много людских жизней, чья прочность от прошлого, как от жены Каменщика Келемена у высокой крепости Девы².

До чего я красиво говорю, замечаешь? Наверно из-за доброго Санджовезе.

Я часто встречал Тамаша Ульпиуса в Крепости, он там жил. Уже одно это было очень романтично в моих глазах, но нравилась мне и белесая зыбкая печаль принца в его лице, и ещё многое другое. Он был прохладно-учтив, носил тёмное, и не водился с одноклассниками. И со мной тоже.

И опять придётся о себе. Ты всегда знала меня уже мускулистым, крепким молодым человеком постарше, со спокойным гладким лицом, о таких в Пеште говорят, жестяная рожа, и привыкла уже видеть меня более или менее сонным. Так вот, в гимназические годы я был совсем другим. Я показывал тебе свой тогдашний портрет, помнишь, тонкое такое, голодное, беспокойное лицо, в экстатическом пылании. Догадываюсь, я, наверно, был очень некрасив – и всё равно я больше люблю тогдашнее своё лицо. И приставь сообразное тело, худого, угловатого подростка, сутулящегося оттого что вытянулся внезапно. И сообразно долговязый и голодный характер.

Так что представь себе, я не был здоров ни телесно, ни душевно. Я был малокровным, и мучился жуткими депрессиями. В шестнадцать лет, после воспаления лёгких у меня начались галлюцинации. Читая, я часто ощущал, как кто-то стоит сзади и через плечо заглядывает мне в книгу. Приходилось оглядываться, чтоб убедиться, что там нет никого. Или просыпался среди ночи в жутком испуге оттого, что кто-то стоит у постели и смотрит на меня. Никого, конечно. И вечный стыд. Вечной застенчивостью я постепенно вогнал себя дома в невыносимое положение. Краснел вдруг посреди обеда, и одно время из-за любого пустяка мне начинало казаться, что я вот-вот расплачусь. И я выбегал из комнаты. Ты ведь знаешь, какие порядочные люди мои родители; вообрази, в каком они были шоке, и как негодовали, и как старшие братья и Эдит насмешничали. В конце концов дошло до того, что пришлось соврать, что у меня в полтретьего отдельный урок французского в школе, чтобы обедать одному, до всех.

Потом постепенно удалось уладить, чтобы мне и ужин оставляли.

И ко всему прочему потом еще и воронка добавилась, как самый страшный симптом. Да, именно так, воронка. Иногда мне казалось, что земля рядом разверзается, и я стою на краю жуткой воронки. То есть воронку не следует понимать буквально, саму воронку я никогда не видел, виденья не было, просто я знал, что она там, воронка. Верней, я и то знал, что нет её там,

² Венгерская народная баллада о женщине, сожженной и замурованной – по жребию, в умилоствление – в стену строящейся на скале у города Дева крепости.

что это просто воображение, ты же знаешь, как это сложно. Но факт, что когда накатывалось это ощущение воронки, то я не смел шелохнуться, слова сказать не мог, и думал, всё кончено.

Впрочем, ощущение это длилось недолго, да и приступов было не так уж много. Однажды очень неприятно вышло на уроке естествознания. Как раз земля разверзлась, а меня к доске вызывают. Я и не шелохнулся даже, сижу себе. Учитель ещё пару раз назвал меня по имени, а потом, когда заметил, что я не шевелюсь, подошёл ко мне. – Что с тобой? – спрашивает. Я конечно не отвечаю. На что он ещё некоторое время смотрел на меня, а потом вернулся за кафедру и вызвал кого-то другого. Тонкая душа был, монах, ни словом ни разу этот случай не помянул. Тем больше говорили о нём мои одноклассники. Думали, это я из бунта и упрямства не вышел к доске, и учитель спасовал. Я враз стал знаменитым шутком, и пользовался в школе неслыханной популярностью. Неделю спустя учитель естествознания вызвал к доске Яноша Сепетнеки. Того самого Яноша Сепетнеки, которого ты сегодня видела. Сепетнеки соорудил самую авантюрную из своих рож, и продолжал сидеть. На что учитель встал, подошёл к Сепетнеки и вклеил ему страшную затрепину. С тех пор Сепетнеки пребывал в убеждении, что у меня огромная протекция.

Но продолжим о Тамаше Ульпиусе. Однажды выпал первый снег. Я еле дождался конца уроков, проглотил свой чрезвычайный обед, и сразу же понёсся в Крепость. Снег был моим особым увлечением, то как всё в городе разом становится другим, до того, что ты даже заблудиться мог среди знакомых улиц. Я долго слонялся, потом вышел на Башенную аллею и пялился в сторону будайских гор. И вдруг снова рядом разверзлось. На этот раз воронка была тем достоверней, что я и впрямь стоял на высоте. Поскольку тогда я уже много раз встречался с воронкой, то особо не испугался, и несколько даже флегматично ждал, пока земля снова срастётся, и воронка исчезнет. Так я прождал некоторое время, не знаю, сколько, это как во сне или в любви, точно так же теряешь чувство времени. Одно точно, что воронка эта не переставала куда дальше прежних. Стемнело, а воронке хоть бы что. Эта сегодняшняя воронка страшно упрямая, подумал я. И тут в ужасе заметил, что воронка разрастается, что от её края меня отделяет сантиметров десять, и что воронка медленно-медленно подступает к ногам. Пара минут, и мне конец, провалюсь. Я судорожно вцепился в перила.

И тут воронка и вправду настигла меня. Земля выскользнула из-под ног, и я повис в пустоте, вцепившись руками в железные перила. Устанут руки, думал я, и упаду. И обреченно стал молиться про себя, готовился к смерти.

Тут до меня дошло, что Тамаш Ульпиус стоит рядом со мной.

– Что с тобой? – спросил он и положил мне руку на плечо.

Воронка вмиг прошла, и я свалился бы от изнеможения, если бы Тамаш меня не подхватил. Довёл до какой-то скамьи, и подождал, пока я приду в себя. Отдышавшись, я коротко рассказал ему про воронку, впервые в жизни. Не могу даже сказать, как это – он вмиг стал моим лучшим другом. Тем другом, о ком мальчишки-подростки мечтают с не меньшей интенсивностью, но глубже и серьёзней, чем о первой любви.

После этого мы стали встречаться каждый день. Тамаш не хотел приходить ко мне, сказал, что не любит представляться, зато вскоре пригласил меня к себе. Так я попал в дом Ульпиусов.

Ульпиусы жили наверху, в одном очень старом и ветхом доме. Но дом только снаружи был старый и ветхий, а изнутри очень даже красивый и уютный, вроде этих старых итальянских отелей. Хотя во многом и жутковатый тоже, с громадными комнатами и экспонатами, он был как музей. Отец у Тамаша Ульпиуса был археолог и директор музея. А дед когда-то был часовщиком, и у него раньше лавка была в том же доме. А теперь он только для души возился с очень старинными часами и всякими чудными игрушками и часовыми механизмами, которые сам же и изобретал.

Мать Тамаша уже умерла. Тамаш и его младшая сестра, Ева, ненавидели отца, и обвиняли его в том, что это он уморил мать, совсем ещё молодую, своей холодной мрачностью. Это было

первое, что поразило меня у Ульпиусов, в первое же посещение. Ева сказала об отце, что у него глаза как пуговицы ботинок – в чем, кстати, была совершенно права, и Тамаш безмятежно, как ни в чём ни бывало, сказал: – Знаешь ли, отец у меня редкостно мерзкий тип, и тоже был прав. Я, ты же знаешь, рос в очень дружной семье, и так любил родителей и братьев с сестрой, отца всегда боготворил, и даже вообразить не мог, чтобы родители и дети не любили друг друга, или чтобы дети судили о поведении родителей, как если б речь шла о чужих людях. Это был первый, великий, примордиальный бунт, с которым я столкнулся в жизни. И странным образом сочувствовал этому бунту, хотя самому мне и в голову не приходило взбунтоваться против отца.

Тамаш Ульпиус отца терпеть не мог, но тем сильнее любил деда и сестру. Сестру так, что и это тоже уже походило на бунт. И я любил братьев и сестру, не так уж много ссорился с ними, к узам родства относился всерьёз, насколько позволяли отрешённая натура и рассеянность. Но дома у нас считалось, что детям неприлично выказывать, что они любят друг друга, более того, всякое нежничанье друг с другом считалось у нас смешным и стыдным. Наверное, в большинстве семей так. На рождество мы не дарили друг другу подарков; никто из нас не прощался и не здоровался с остальными, когда уходил из дому или возвращался, а когда мы уезжали, то одним родителям писали почтительные письма, и добавляли в конце: Привет Петеру, Лаци, Эдит и Тивадару. У Ульпиусов всё было иначе. Брат и сестра разговаривали друг с другом с изысканной учтивостью, и прощаясь, растроганно целовали друг друга, даже когда разлучались всего на час. Как я позже догадался, они сильно ревновали друг друга, и по большей части из-за этого ни с кем не дружили.

Они были вместе днем и ночью. И ночью, говорю, они жили в одной комнате. Для меня это было самое странное. У нас дома Эдит двенадцати лет отделили от нас, мальчиков, и с тех пор вокруг нее образовалась эдакая женская половина, к ней приходили подружки, более того, друзья, с которыми мы даже не были знакомы, там практиковались развлечения, которые мы от души презирали. Моё подростковое воображение основательно занимало то, что Ева и Тамаш живут вместе. Мне представлялось, что из-за этого различие полов у них как-то стирается, и оба приобрели в моих глазах несколько андрогинный характер. С Тамашем я обычно разговаривал деликатно и утонченно, как принято с девочками, зато с Евой не испытывал той скупающей натянутости, которую испытывал с подружками Эдит, существами, чье девичье качество декларировалось официально.

К деду, который в самое немыслимое время, нередко среди ночи, и в самых немыслимых одеяниях, халатах и шляпах прошаркивал в комнату к брату с сестрой, я привыкал с трудом. Брат и сестра неизменно награждали его ритуальными овациями. Поначалу дедовы байки наводили на меня скуку, да я и не понимал их толком, так как старик говорил на немецком, с оттенком рейнского диалекта, в Венгрию он перебрался из Кёльна. Но позднее я вошёл во вкус. Старик был живой энциклопедией старого Пешта. Подлинной находкой для меня, друга домов. Он мог рассказать историю каждого крепостного дома и его хозяев. Так что дома Крепости, которые раньше я просто знал в лицо, понемногу становились моими личными и задушевыми знакомыми.

Но отца их я тоже ненавидел. Не помню, чтоб мы с ним разговаривали хоть раз. Заметив меня, он что-то буркал и тут же отворачивался. Оба Ульпиуса ужасно страдали, когда им приходилось ужинать с отцом. Ели в большой зале, за весь ужин ни слова не проронив. После чего брат с сестрой садились, а отец носился взад-вперёд по зале, освещенной одной-единственной стоячей лампой. На другом конце залы силуэт его исчезал в темноте. Стоило им заговорить, отец подходил и вопрошал враждебно: – Что-что, о чём это вы? Но к счастью, он редко бывал дома. Напивался в кабаках, палинкой, как нехорошие люди.

Когда мы познакомились, Тамаш как раз трудился над одним религиозно-исследовательским исследованием. Исследование было посвящено его детским игрушкам. Но тему он разрабатывал

методом сравнительного религиоведения. Престранная была работа, наполовину религиоведческая пародия, наполовину смертельно серьёзное исследование самого себя.

Тамаш был точно так же помешан на старине, как и я. Что до него, то ничего удивительного: с одной стороны, отцовская линия, с другой, у них дом был как музей. Старое для Тамаша было естественным, и современное странным, чужим. Он вечно мечтал об Италии, где всё старое, и по нему. И вот я здесь, а он так и не смог... Моя тяга к старине была скорее пассивным наслаждением и интеллектуальной страстью к познанию, его тяга – активной работой воображения.

Он вечно разыгрывал историю.

Представь, жизнь брата с сестрой в доме Ульпиусов была нескончаемым театром, нескончаемой *commedia dell'arte*. Довольно было пустяка, и Тамаш с Евой начинали что-то разыгрывать, точнее, играть, как говорили они. Дедушка рассказывал про какую-то графиню из Крепости, которая была влюблена в своего кучера, и Ева тут же становилась графиней, а Тамаш кучером; или как слуги-валахи верховного судью убили, и Ева становилась верховным судьёй, а Тамаш слугами-валахами; или ветвилась длинная, сложная историческая драма ужасов, с продолженьями. Игра, естественно, лишь обозначала событие в общих чертах, как *commedia dell'arte*: одной-двумя деталями, большей частью из неистощимого и ошеломительного дедова гардероба, обозначался костюм, далее следовал не особо длинный, но чрезвычайно барочный, вычурный диалог, и наконец, убийство или самоубийство. Сейчас вот, оглядываясь, я соображаю, что эти импровизированные представленья всегда кульминировали в картинах насильственной смерти. Ежедневно по разу Тамаш и Ева душили, отравляли, закалывали друг друга или варили в кипящем масле.

Они не представляли будущего без театра, насколько вообще задумывались о будущем. Тамаш готовился стать драматургом, а Ева великой актрисой. Но приготовление немного не то слово, Тамаш никогда не писал пьес, а Еве и во сне не приснилось бы поступать в театральное училище. Тем с большей страстью они ходили в театр. Исключительно в Национальный; лёгкий жанр вызывал в Тамаше то же отвращение, что и современная архитектура; больше всего он любил классическую драму, где убийств и самоубийств хватало с лихвой.

Но чтобы ходить в театр, нужны были деньги, а отец, кажется, вообще не давал им карманных денег. Кое-какой мелкий доход обеспечивала старая повариха, нечесаная земная покровительница Ульпиусов, ей удавалось выкроить пару грошей в пользу юношества на хозяйстве. Ну и у деда водилась крона-другая невесть откуда; вероятно, он подрабатывал часовщиком подпольно. Но на театральную страсть Ульпиусов всего этого, разумеется, не хватало.

Заботиться о деньгах должна была Ева. При Тамаше слово деньги не употреблялось. Ева и заботилась; она была на редкость изобретательна в добыче денег. Всё годное для продажи продавала по хорошей цене; реже сбывала и кое-что из домашних музейных сокровищ, но из-за отца это было очень рискованно, да и Тамаш плохо переносил исчезновение какой-нибудь привычной древности. Иногда Ева чудесным образом ухитрялась занять у зеленщика, в кондитерской, в аптеке, и даже у сборщика платы за электричество. И если всё это не выручало, крала. Крала у поварихи, с безрассудной отвагой крала у отца, пользуясь тем, что он был пьян. И это был ещё самый надёжный и в каком-то смысле самый честный источник дохода. Однажды она стянула из кассы кондитера десять крон, чем сильно гордилась. И бывали наверняка и случаи, о которых она не рассказывала. И у меня она тоже крала. А когда я заметил, и горько вопрошествовал, то в возмещение убытка обложила меня регулярной данью, я обязан был еженедельно вносить в семейную кассу определённую сумму. О чем Тамашу, конечно, знать не полагалось.

Тут Эржи перебила его:

– Moral insanity³.

³ Нравственная неменяемость, отсутствие каких бы то ни было нравственных препон.

– Вот, вот, – продолжал Михай. – Такого сорта учёности на редкость успокоительны. И оправдывают отчасти. Не воровка, а душевнобольная. Но Ева не была ни душевнобольной, ни воровкой. Просто она напрочь лишена была нравственного чутья в том, что касалось денег. Брат и сестра Ульпиусы были настолько вне мира, вне экономического и социального устройства мира, они понятия не имели, как можно, и как нельзя добывать деньги. Для них не существовало денег. Они просто знали, что в театр пускают в обмен на такую нарезанную бумагу, не особо даже красивую, и на серебряные кругляшки. Великая абстрактная мифология денег, основа религиозного и нравственного чувства современного человека и жертвенные ритуалы бога-денег: «честный труд», бережливость, возвращение плодов и тому подобное были для них неведомыми понятиями. Обычно это рождается вместе с нами, но с ними не родилось; или ты научаешься этому дома, как я, но дома у них дед разве что истории крепостных домов их научил.

Ты даже не представляешь, до чего они были ирреальны, до чего чурались всякой практической реальности. Газет они в руки не брали, и понятия не имели, что в мире творится. А ведь шла мировая война; но им дела не было. Как-то в школе, из ответа на уроке, обнаружилось, что Тамаш ни разу не слышал об Иштване Тисе. Когда пал Перемышль, Тамаш решил, что речь о каком-то русском генерале, и порадовался из вежливости; его чуть не побили. Позднее уже мальчишки поинтеллигентней спорили об Ади и Бабиче; по версии Тамаша все говорили о генерале, он и про Ади долго думал, что это генерал. Мальчишки поинтеллигентней считали Тамаша дураком, как и учителя. О странном гении его, о его исторических познаниях в школе пребывали в полном неведении, о чём он не сожалел ничуть.

И во всём остальном тоже они находились вне будничного порядка вещей. Еве в два часа ночи могло взбрести в голову, что она забыла на Швабской горе тетрадь по французскому; тогда они вставали оба, одевались, уходили и слонялись там до утра. На другой день Тамаш с монаршей невозмутимостью пропускал школу, Ева изготавливала ему справку за подписью старика Ульпиуса. Ева в школу не ходила вообще, и занятий никаких не имела, но и не скучала никогда одна, как кошка.

К ним можно было заявиться когда угодно, помешать им ты не мог, жизнь шла своим чередом, как если б тебя и в помине не было. Хоть среди ночи явись, они только рады были бы, но гимназистом я не мог являться к ним по ночам из-за домашней дисциплины, разве что после театра, ненадолго – и всё мечтал, как хорошо было бы остаться у них ночевать. После выпускных экзаменов я часто оставался у них на ночь.

Позднее я прочёл в одном знаменитом английском эссе, что главная черта кельтов – бунт против тирании фактов. Так вот Ульпиусы, оба в этом смысле были кельтами. Заметим кстати, что и я, и Тамаш были помешаны на кельтах за легенду Грааля и за Парцифалья. Вероятно, мне потому и было так хорошо с ними, что они были такими кельтами. С ними я нашёл себя. Понял, почему ощущал себя постыдно чужим в родительском доме. Потому что там правили факты. У Ульпиусов я был дома. Я ходил туда каждый день, и всё свободное время проводил у них.

Когда я попал в атмосферу дома Ульпиусов, прошло и постоянное моё чувство стыда, и нервные симптомы. В последний раз я встретился с воронкой, когда Тамаш Ульпиус меня из неё выволок. Никто больше не следил из-за плеча, не пялился на меня в темноте по ночам. Я спал спокойно, жизнь дала мне то, чего я от неё ждал. И телесно тоже окреп, лицо разгладилось. То было для меня самое счастливое время в жизни, и когда какой-нибудь запах или освещение будят воспоминание о нём, то и теперь меня пробирает тем взволнованным головокругительным и дальним счастьем, единственным счастьем, что я знал.

Счастье это конечно тоже не задаром давали. Чтобы быть своим у Ульпиусов, мне тоже пришлось оторваться от мира фактов. Или-или: жить на два дома не получалось. И я тоже отвык от чтения газет, и порвал со своими интеллигентными друзьями. Мало-помалу меня стали считать таким же идиотом, как Тамаша; это уязвляло, ведь я был тщеславен, и знал, что

я умный – но что поделаешь. Я совсем отбился от дома; с родителями, братьями и сестрой говорил с той учтивой прохладцей, которой выучился у Тамаша; того что разорвалось тогда между нами, я так и не сумел с тех пор преодолеть, как ни старался; и до сих пор совестно. Позже я старался скорректировать это чувство дистанции послушаньем, но это уже другая история...

Домашних сразило моё превращенье. На созванном по тревоге совместном с дядиным семейством совете было решено, что мне необходима женщина. О чём дядя, в сильном смущении, прибегнув ко множеству аллегорий, и известил меня. Я слушал с интересом, но не выказал ни малейшей склонности; тем более, что к тому времени Тамаш, Эрвин, Янош Сепетнеки и я поклялись уже, что не коснемся женщины, ибо станем новыми рыцарями Граалья. Так что женщина отменилась понемногу, и родители смирились с тем, что я такой, какой я есть. Мать, кажется, до сих потихоньку предупреждает прислугу и новых знакомых, когда они приходят к нам, чтобы поосторожней со мной, мол, я не от мира сего. А ведь... сколько лет уже во мне и в микроскоп не обнаружить хоть что-то, что было бы не от мира сего.

Я и объяснить-то не смог бы, в чём состояла перемена, которую родители наблюдали с таким беспокойством. Правда, Ульпиусы требовали во всём приноравливаться к ним, я и приноравливался охотно, более того, с упоением. Отучился хорошо учиться. Пересмотрел свои убеждения, и меня отвращало то, что нравилось прежде: армия, боевая слава, одноклассники, венгерская кухня, все, на что в школе могли бы сказать «мощно» или «умора». Забросил футбол, который до этого был моей страстью; единственно дозволенным спортом было фехтованье, тем усердней мы упражнялись в нём, все трое. Я много читал, чтоб поспеять за Тамашем, правда, это не составляло труда. Именно тогда я и увлёкся историей религии, но потом это прошло, как много чего с тех пор, как я взялся за ум.

И всё равно совесть моя из-за Ульпиусов была нечиста. Я чувствовал, что обманываю их. Ведь что было им естественной свободой, для меня тяжкий, натужный бунт. Слишком уж я буржуазен, слишком уж меня дома таким воспитали, ты ведь знаешь. Надо было собраться с духом, отважиться не на шутку, чтоб отряхнуть пепел на пол; оба Ульпиуса и не умели иначе. Если иногда вместе с Тамашем я геройски прогуливал школу, то у меня потом весь день болел живот. Я так устроен, что просыпаюсь рано, и ночью меня клонит в сон, в полдень и перед ужином я голодней всего, есть люблю из тарелки, и не люблю начинать со сладкого, люблю порядок, и неизъяснимо боюсь полицейских. Эти мои свойства, всё моё добронравное и совестливое буржуазное нутро приходилось от Ульпиусов скрывать. Они, конечно, знали про это, и мнение имели, но из такта молчали, великодушно смотрели мимо, когда со мной случался приступ чистоплюйства или бережливости.

Самое трудное было, что я тоже должен был играть в их игры. У меня ни малейшей склонности к актёрству, я неборимо застенчив, сперва я чуть не умер, когда на меня напялили дедов алый жилет, чтоб я был им папой Александром VI в многочастной драме клана Борджиа с продолжением. Позже и это прошло; хотя я так и не научился сочинять на ходу такие изысканно барочные речи, как они. Зато оказался отменной жертвой. Никого нельзя было отравить или сварить в масле лучше, чем меня. Сколько раз я бывал просто толпой, гибнущей от бесчинств Ивана Грозного, и надо было издавать хрипы и умирать двадцать пять раз подряд, по разному. Особым успехом пользовалась моя техника хрипа.

А ещё сознаюсь тебе, хотя об этом, всё равно непросто, сколько ни пей, но жена должна знать и такое: я очень любил быть жертвой. С утра уже думал про это, и весь день ждал, да...

– А почему ты любил быть жертвой? – спросила Эржи.

– Хм... По эротическим причинам, если ты понимаешь, о чём я... да. Позже я сам сочинял истории, в которых мог быть жертвой в своё удовольствие. Например, такие (фантазией тогда уже правило кино): скажем, Ева – девушка из апачей, тогда шли фильмы про них, она заманивает меня к апачам, поит там, а им остается обобрать меня и убить. Или то же самое,

поисторичней: сюжет Юдифи с Олоферном; это я очень любил. Или я русский генерал, Ева шпионка, усыпляет меня и похищает план сражения. Тамаш, скажем, мой очень ловкий адъютант, преследует Еву и добывает тайну обратно, но чаще всего Ева и его обезвреживала, и русские несли ужасные потери. Это прямо на месте, по ходу складывалось. Интересно, что Тамашу тоже страшно нравились эти игры, и Еве тоже. Только я вечно стыдился этого, я и теперь стыжусь, пока говорю, а они нет. Ева любила быть той женщиной, что изменяет мужчинам, предаёт их, убивает, Тамаш и я любили быть теми мужчинами, кому изменяют, кого предадут, убивают или сильно унижают...

Михай умолк, и пил. Чуть погода Эржи спросила:

– Скажи, ты был влюблён в Еву Ульпиус?

– Да нет, не думаю. Раз тебе так угодно, чтоб я был влюблён кого-то, то тогда уж скорей в Тамаша. Тамаш был моим идеалом, Ева скорее лишь добавкой и эротическим орудием в этих играх. Но говорить, что я был влюблён в Тамаша, тоже как-то не хочется, можно ведь не так понять, решишь ещё, что между нами была какая-то болезненная гомоэротическая связь, а об этом и речи не было. Он был моим лучшим другом, в юношеском смысле слова, и болезненно тут, я говорил уже, было совсем иное, и глубже.

– Но скажи, Михай... так трудно представить... чтоб вечно вместе, годами, и никакого невинного флирта не завязалось между тобой и Евой Ульпиус?

– Нет, никакого.

– Как же так?

– Как?... и в самом деле... Так, наверно, что слишком уж мы были близки, чтоб флиртовать или влюбляться друг в друга. Любви нужна дистанция, чтобы влюблённые могли, одолевая ее, сближаться. Сближение, конечно, лишь иллюзорное, любовь ведь на самом деле отдаляет. Любовь полярность – двое влюблённых противоположно заряженные полюса мира...

– Ну и умно же ты, эдак посреди ночи. Не пойму я всей этой ситуации. Она что, некрасивая была?

– Некрасивая? В жизни не встречал женщины красивей. Нет, и это не точно. Красивой женщиной была она, любую красоту с тех пор я сверяю с ней. Все мои любви потом были чем-то похожи на неё, у одной ноги, другая так же вскидывала голову, у третьей голос в телефоне.

– И я?

– И ты... да.

– Чем же я похожа на неё?

Михай покраснел и молчал.

– Скажи... очень прошу тебя.

– Как тебе сказать... Встань, будь добра, стань тут рядом.

Эржи встала рядом со стулом Михая, Михай обнял её за талию и взглянул на неё снизу вверх. Эржи улыбнулась.

– Вот-вот... сейчас, – сказал Михай. – Когда ты мне улыбаешься так сверху вниз. Так же улыбалась Ева, когда я был жертвой.

Эржи высвободилась и села на место.

– Интересно, – сказала она сухо. – Наверняка ты умалчиваешь о чём-то. Ничего. По мне ты не обязан рассказывать всё. И я не угрызаюсь из-за того, что не говорила тебе о своих отроческих годах. И важным не считаю. Но скажи... ты в эту девочку был влюблён. Дело лишь в названии. У нас это называется любовью.

– Да нет же, говорю тебе, не был я в неё влюблён. Только остальные.

– Какие остальные?

– Я как раз собирался о них. Годами у Ульпиусов не бывало никаких гостей, один я. Положение изменилось, когда мы перешли в восьмой класс. Тогда добавились Эрвин и Янош Сепетнеки. Они приходили к Еве, не к Тамашу, как я. Началось с того, что в тот год, как каждый

год, в школе ставили пьесу, и поскольку мы были восьмиклассниками, то верховодили всем праздником. Была какая-то пьеса, приуроченная, очень замечательная пьеса, одна беда, что в ней была довольно пространный женская роль. И вот мальчики привели свои идеалы с катка и из школы танцев, но учитель, который ставил спектакль, очень умный, и очень не выносивший женщин молодой священник, ни одну не счёл достойной. Я как-то сказал об этом при Еве. С этих пор Ева покоя себе не находила, решила, что вот он, случай, чтобы начать карьеру актрисы. Тамаш, конечно, и слышать об этом не желал, одна лишь мысль оказаться в такой прямо-таки семейственной близости со школой представлялась ему неблагородной до дрожи. Зато меня Ева изводила до тех пор, пока я не упомянул о ней этому самому учителю, который очень любил меня, и он поручил мне привести Еву. Я и привёл. Ева едва рот раскрыла, как учитель сразу же сказал: – Играть будете вы, вы и никто другой. Так что Ева, на высоте положения, ещё и поломалась с полчаса, ссылаясь на отцовскую строгость и мировоззренческую неприязнь к театру, прежде чем согласиться, наконец.

О самом спектакле я, конечно, не хочу сейчас говорить, замечу лишь вскользь, что Ева вовсе не имела успеха, собравшиеся родители, и моя мать в их числе, нашли её чересчур смелой, недостаточно женственной, слегка вульгарной, словом, странноватой какой-то, и т. д., то есть учуяли бунт, и хотя ни в Евиной игре, ни в одежде или поведении не к чему было придраться, оскорбились. Но не имела она успеха и у мальчиков, сколь ни была прекрасней их идеалов с катка или из школы танцев. Мальчики признали, что она очень красивая, «но как-то...», говорили они, и пожимали плечами. В этих буржуазных мальчиках были уже ростки родительского обращения с бунтарём. Заколдованную принцессу в Еве признали только Эрвин и Янош, к тому времени они и сами уже были бунтарями.

Ты уже видела Яноша Сепетнеки. Он всегда был такой. В классе он был лучшим чтецом, особенно как Сирано в кружке самообразования. Имел при себе револьвер, и когда был помладше, то еженедельно застреливал по несколько грабителей, покушавшихся на загадочные бумаги его матери-вдовы. И имел уже сенсационные интриги с женщинами, когда остальные ещё только отдавливали партнёрше ноги от усердия. Летние каникулы проводил на полях сражений, и дослужился до лейтенанта. Новая одежда рвалась на нём в несколько минут, так как он вечно откуда-нибудь падал. Делом его жизни было доказать мне, что он лучше меня. Кажется, началось это с тех пор, как тринадцати лет у нас был учитель, который увлекался строением черепа, и по выпуклостям моей головы заключил, что я одарённый, а по голове Яноша прочёл, что он не одарённый. Он так и не оправился от обиды, со слезами вспоминал о ней и через много лет после выпускных экзаменов. Он хотел быть лучше меня во всём: в футболе, в учёбе, в интеллигентности. Когда же я отвык ото всего этого, то пришёл в замешательство, и не знал, чем заняться. После чего влюбился в Еву, полагая, что Ева влюблена в меня. Да, это был Янош Сепетнеки.

– А кто такой Эрвин?

– Эрвин был еврейский мальчик, в то время он принял католичество, может, под влиянием учителей-священников, но скорее, следуя внутреннему порыву, я полагаю. Накануне, шестнадцати лет, он был самым интеллигентным среди интеллигентных мальчиков и задавак, еврейские мальчики раньше созревают. Тамаш как раз за интеллигентность терпеть его не мог и прямо таки в юдофоба превращался, когда речь заходила об Эрвине.

От Эрвина мы впервые слышали о фрейдизме, социализме, мартовском кружке⁴, он был первым среди нас, в ком проявился тот странный мир, что позднее стал революцией Карои⁵. Писал прекрасные стихи в манере Эндре Ади.

⁴ Отколовшийся от просветительского леворадикального, антиклерикального и антивоенного студенческого Кружка Галилея (1908–1918 гг.) и переживший его – более умеренный союз скорее либерально-демократического направления.

⁵ Вылившиеся в Революцию астр антивоенные волнения осени 1918 года.

А потом вдруг его как подменили. Он отвадил одноклассников, общался только со мной, но его стихов, по крайней мере тогдашним своим умом, я не понимал, к тому же мне не нравилось, что он стал писать длинными нерифмованными строками. Уединился, читал, играл на фортепьяно, мы почти ничего не знали о нём. Потом однажды увидели его в часовне, как он вместе с другими мальчиками шёл к алтарю, за причастием. Так мы узнали, что он принял католичество.

Почему он принял католичество? Потому, наверно, что его влекла чужеродная для него красота католицизма. И притягивала неумолимая суровость постулатов веры и повелений морали. Думаю, было в нём что-то, что искало аскезы, вроде жажды наслаждения у других. В общем, те самые причины, по которым человек обычно обращается к вере, и становится рьяным католиком. И помимо этого что-то ещё, тогда для меня ещё не прояснённое. Эрвину, как всем у Ульпиусов, кроме меня одного, актёрство было присуще от природы. Сейчас припоминаю, он с младших классов вечно что-то из себя разыгрывал. Разыгрывал интеллектуала и революционера. Он не был непосредствен и естественен, как это подобает, отнюдь. Каждое его слово и движение было стилизовано. Он употреблял архаизмы, был замкнут, вечно искал большой роли. Но играл он не как Ульпиусы, которые мигом выпадали из роли, и окунались в новую игру: он всю жизнь хотел сыграть одну-единственную роль, и в католицизме нашёл, наконец, большую, достойную и трудную роль. С тех пор он больше не менял установки, и роль глубилась вовнутрь.

Он был таким неистовым католиком, какими бывают иногда евреи, в ком пласты столетий не сровняли ещё великой встряски католицизма. Он был католиком не так, как набожные одноклассники из бедных семей, которые ежедневно причащались, ходили в конгрегацию, и готовились к церковной карьере. Их католицизм был приспособлением, его – бунтом, противоборством со всем неверующим или безразличным миром. На всё у него было католическое мнение, о книгах, о войне, об одноклассниках, о булке с маслом на завтрак. Он был куда неподкупней и догматичней, чем самые строгие в делах веры из наших учителей. «Положивший руку на плуг, не оглядывайся», это библейское изречение было его девизом. Он исключил из жизни всё, что было не вполне католическим. С револьвером бдел за спасеньем души.

Единственное, что он оставил себе от прежней жизни, была страсть к куренью. Не припомню, чтоб я хоть раз видел его без сигареты.

А искушало его очень многое. Эрвин невероятно любил женщин. У нас в классе он был влюблённым, столь же комически однобоко, как Янош Сепетнеки вралём. О любовях его знал весь класс, так как всё время после уроков он гулял на горе Геллерт с очередной девочкой, и писал к ней стихи. Класс уважал любви Эрвина за интенсивность и поэзию. Но приняв католичество, он, конечно, отказался и от любви. Мальчики как раз начинали ходить в публичные дома. Эрвин брезгливо отвернулся от них. А ведь остальные, я думаю, ходили к женщинам лишь шутки ради и из хвастовства – один Эрвин всерьёз знал уже, что такое плотское влечение.

Тогда он познакомился с Евой. Наверняка Ева первая начала. Эрвин ведь был очень красив, с лицом цвета слоновой кости, высоким лбом, горящими глазами. И излучал странность, упорство, бунт. И вдобавок ко всему был добрым, тонким юношей. Все это дошло до меня лишь когда Эрвин и Янош заявили к Ульпиусам. В первый раз всё было ужасно. Тамаш был сдержан и царствен, и лишь изредка изрекал что-нибудь вконец неуместное, чтоб ошеломить буржуа. Но Эрвин и Янош не ошеломились, они ведь не были буржуа. Янош без умолку говорил, делился опытом охоты на китов и грандиозными деловыми планами, касательно хитроумно расширенной утилизации урожая кокосового ореха. Эрвин молчал, курил и смотрел на Еву; Ева была совсем не такая как всегда. Хныкала, жеманничала, стала женственной. Мне было скверней всего. Как псу, когда тот обнаруживает, что с сегодняшнего дня ему придётся делить с двумя другими псами монопольное прежде право сидеть под столом, когда семья обедает. Я ворчал, а хотелось плакать.

И я стал редким гостем; старался приходить в отсутствие Эрвина и Яноша. Тем более, что на носу были выпускные экзамены; пришлось засесть всерьёз, к тому же я старался вбить неизбежные знания и в Тамаша. И пронесло как-то. Удалось приволочь Тамаша силой, хотя в тот день он вообще не намеревался вставать. После чего у Ульпиусов в доме возобновилась жизнь с большой буквы.

А к тому времени всё утряслось. Ульпиусы оказались сильнее. Они полностью ассимилировали с собою Эрвина и Яноша. Эрвин умерил суровость, завел какую-то очень милую, хотя слегка манерную повадку, говорил всегда как бы в кавычках, подчёркивая, что не целиком отождествляет себя с тем, что говорит и делает. Янош стал тише и сентиментальней.

Постепенно мы возвратились и к игре, но игра стала куда отточенней, обогатившись авантюрной фантазией Яноша и поэтической Эрвина. Янош конечно оказался отличным актёром. Декламацией и рыданиями (особенно ему нравилось играть безнадёжно влюблённого), он затирал всех, приходилось даже прерывать игру и ждать, пока он утихомирится. Эрвин больше всего любил роль дикого зверя; он пригодился как зубр, которого побеждал Урсус (я), и оказался на редкость одарённым единорогом. Громадным рогом он раздирал любую преграду, занавеси, простыни, что попало.

В то время границы дома Ульпиусов раздвигались понемногу. Мы начали слоняться по будайским горам, и купаться тоже ходили, а позже и к питью пристрастились. Идея исходила от Яноша, который годами уже рассказывал о своих кабацких похождениях. Ева умела пить лучше всех нас, не считая Яноша, по ней и заметно почти не было, когда она пила, просто как-то становилась ещё больше Евой. Эрвин пил так же неистово, как курил. Не хочу пускаться в расовые теории, но ты же знаешь, как странно, когда еврей много пьёт. Пьянство Эрвина было таким же странным, как его католичество. Отчаянным прыжком головой вниз, как будто и пьянел он не от заурядных венгерских вин, а от чего-то куда более страшного, от гашиша или кокаина. И как будто ещё и прощался при этом: как будто пил в последний раз, и вообще, он всё делал как будто в последний раз на этом свете. Я быстро привык к вину, и эта раскрепощённость чувств, ослабление дисциплины, что оно творило во мне, стало для меня насущной необходимостью, а потом дома я ужасно стыдился этих своих кошачьих мук похмелья, и всякий раз клялся, больше не буду пить. И снова пил, и всё больше осознавал, что слаб, и это чувство гибельности и было самым главным моим чувством второй половины тех лет, с Ульпиусами. Я чувствовал, что «мчу гибели навстречу», особенно когда пил. Чувствовал, что навсегда выпадаю из того, что есть порядочная жизнь порядочных людей, и чего ждал от меня отец. И чувство это, всем страшным угрызеньям совести вопреки, я очень любил. В то время я чуть ли не прятался от отца.

Тамаш пил мало, и становился всё молчаливей.

Тогда мы стали проникаться религиозностью Эрвина. Мы уже начинали видеть этот мир, ту реальность, которой до тех пор сторонились, и она ужаснула нас. Мы чувствовали, что человек неизбежно марается, и благоговейно слушали Эрвина, который говорил, что этого не должно случиться. Мы стали судить всю сегодняшнюю жизнь так же строго и догматично, как Эрвин. На время он стал нашим гегемоном, мы во всём слушали его, и мы с Яношем стремились переплюнуть друг друга в благочестивых поступках. Каждый день мы открывали новых сырых и убогих, нуждавшихся в помощи, великих католических авторов, которых предстояло спасти от несправедливого забвенья. Фома Аквинский и Жак Маритен, Честертон и Ансельм Кентерберийский носились по комнате как мухи. Мы ходили в церковь, и Яношу, разумеется, были явленья. Однажды перед рассветом святой Доминик заглянул к нему в окно и воздев указательный палец, произнёс: а тебя мы оберегаем совсем особенно. Наверно, мы с Яношем были неодолимо уморительны в этом своем тщании. Ульпиусов, обоих, католицизм занимал куда меньше.

Этот период тянулся с год наверно, а затем наступила дезинтеграция. Точно не скажу, с чего началось, но как-то пошла вторгаться повседневность, и тлен тоже. Умер дед Ульпиусов. Он неделями мучился; задыхался и хрипел. Ева с поразительным терпением ходила за ним, ночи у постели просиживала. Когда потом я как-то сказал ей, как это было благородно с её стороны, она рассеянно улыбнулась, и сказала, что очень интересно смотреть, как кто-то умирает.

Потом их отец решил, что пора что-то делать с детьми, что дальше так продолжаться не может. Решил срочно выдать Еву замуж. Он отправил её в провинцию к богатой светской тётушке, чтоб она там ездила на местные балы, и не знаю, что ещё такое делала. Ева, конечно, вернулась через неделю с замечательными историями, и флегматично отряхнула отцовские пощёчины. У Тамаша был не такой везучий характер. Отец пристроил его на службу. Вспомнить страшно, у меня до сих пор слёзы набегают на глаза, когда я вспоминаю, как Тамаш страдал на службе. Он служил в городской управе, среди нормальных обывателей, которые не считали его за человека в здравом рассудке. Ему поручали наиглупейшую, самую шаблонную работу, не предполагая, что он способен на что-либо, требующее некоторого умственного усилия или самостоятельности. И пожалуй были правы. Он терпел множество унижений от коллег: не то чтоб они обижали его, напротив, жалели и щадили. Тамаш никогда нам не жаловался, только Еве иногда; как я знаю. Тамаш только бледнел и умолкал, когда мы упоминали о его службе.

Тогда случилось второе самоубийство Тамаша.

– Второе? – спросила Эржи.

– Да. Надо было мне раньше говорить о первом. В сущности оно было важнее и куда ужаснее. Это случилось, когда нам было шестнадцать, то есть в начале нашей дружбы. Однажды я явился к ним как обычно. Я застал Еву одну, она непривычно углубившись, что-то рисовала. Сказала, чтоб я подождал, Тамаш поднялся на чердак, сейчас он спустится. Тамаш в то время часто подымался на чердак в поисковые экспедиции, там среди старых сундуков он находил много всякого, что занимало его воображение, и годилось для наших игр; чердак такого старого дома вообще очень романтическое место. Так что я не удивился, и терпеливо ждал. Ева, как я сказал, была непривычно тихая.

Вдруг она побледнела, вскочила и визжа звала меня, пойдём на чердак, посмотрим, что с Тамашем. Я не знал, в чём дело, но её испуг передался и мне. На чердаке было уже довольно темно. Я говорю, это был огромный старый чердак со всякими закутками, загадочными дощатыми дверьми отовсюду, сундуками поперёк коридоров, я ушибся головой о низкую балку, мы мчали вверх-вниз по неожиданным лестницам. Но Ева не колеблясь неслась в темноте, как будто знала, где должен быть Тамаш. В самом конце коридора была низкая и очень длинная ниша, с чуть светлевым круглым окошком в глубине. Ева замерла и верёвца вцепилась в меня. У меня тоже зубы стучали, но я и тогда уже был таким, от самого страшного страха вдруг делался храбрым. Шагнул в тёмную нишу, волоча за собой вцепившуюся в меня Еву.

Там, около круглого окошка висел Тамаш, где-то в метре от пола. Повесился. – Он живой, живой ещё, – визжала Ева, и совала мне в руку нож. Похоже, она прекрасно знала, на что готовится Тамаш. Там был ящик, видимо Тамаш встал на него, чтоб закрепить на балке петлю. Я вскочил на ящик, перерезал верёвку, другой рукой обнял Тамаша и медленно спустил на руки Еве, которая высвободила ему шею из петли.

Тамаш вскоре пришёл в себя, наверно он всего пару минут, как повесился, ничего ему не сделалось.

Зачем ты выдала меня? – спросил он Еву. Ева сильно смутилась, и не ответила.

Чуть погодя я спросил, зачем он это сделал.

– Любопытно было, как это, – равнодушно сказал Тамаш.

– И как? – спросила Ева во все глаза от любопытства.

– Очень хорошо было.

- Жалеешь, что мы тебя срезали? – спросил я, сам уже несколько угрызаясь.
- Нет. Успею. Как-нибудь в другой раз.

Тамаш тогда не мог ещё объяснить, в чём тут дело. Да и незачем было, я и так понял; по нашим играм понял. В своих играх-трагедиях мы вечно убивали и умирали. Все наши игры были про это. Тамаша вечно занимало умиранье. Но ты пойми, если вообще возможно понять: не смерть, тлен, уничтоженье. Нет. А акт умиранья. Бывают люди, которых «неодолимая сила» снова и снова понуждает убивать, чтобы испытать раскалённую радость убийства. Той же неодолимой силой Тамаша влекло к великому конечному экстазу собственного умиранья. Я наверно, не сумею объяснить тебе, Эржи, это пустое, это как музыку объяснять тем, кому медведь на ухо наступил. Я понимал Тамаша. Мы годами больше не говорили об этом, просто знали друг о друге, что понимаем друг друга.

Когда нам было двадцать, опыт повторился, и тогда я и сам уже принял участие в нём. Не пугайся, ты же видишь, я живой.

Очень мне горько было тогда, особенно из-за отца. После выпускных экзаменов я записался в университет, на филолога. Отец неоднократно спрашивал меня, кем я собираюсь стать, на что я отвечал, что религиоведом. – И на что же ты намерен жить? – интересовался отец. На этот вопрос я ответить не мог, да и не хотелось думать об этом. Я знал, что отец хочет, чтобы я работал на предприятии. К моим университетским штудиям он особых претензий не имел, полагая, что доброму имени предприятия никак не повредит докторский титул одного из совладельцев. Да и для меня самого университет был всего лишь отсрочкой на пару лет. Выиграть время, прежде чем станешь взрослым.

Жизнелюбие не было в то время моей сильной стороной. Чувство гибельности крепло во мне, и католицизм тоже не утешал уже, напротив, лишь утверждал в сознании собственной слабости. Не моё это, играть роль, и тогда я уже ясно видел, как неисцелимо чужд моей жизни и естеству жизненный идеал католика.

Я был первым, кто отошел от католицизма товарищества; это тоже одно из моих многочисленных предательств.

Итак однажды за полдень я зашёл к Ульпиусам и позвал Тамаша погулять; был по-весеннему чудесный день. Мы добрали до Обуды и уселись там в одном пустом кабачке, под статуей святого Флориана. Я много пил, и было очень не по себе из-за отца, из-за перспектив, из-за всей ужасной горечи юности.

- Зачем ты столько пьёшь? – спросил Тамаш.
- Затем, что хорошо.
- Любишь, когда голова кружится?
- А как же.
- Любишь забыться?
- А как же. Ничего кроме.
- Ну тогда... не пойму я тебя. Вообрази, каким наслаждением может быть умереть целиком.

С этим нельзя было не согласиться. Пьяный мыслит куда логичней. Я возразил лишь, что страшно боюсь любой боли или насилия. Что мне неохота вешаться или прыгать в холодный Дунай.

– И незачем, – сказал Тамаш. У меня с собой тридцать сантиграмм морфия, насколько я знаю, нам и на двоих хватит, хотя и одному достаточно, чтоб умереть. Я ведь всё равно на днях умру, пора уже. Но если вместе, то гораздо лучше. Разумеется я не хочу влиять на тебя. Просто так сказал. Вдруг и тебе захочется.

- Откуда у тебя морфий?
- Ева дала. Ева выпросила у доктора, сказала, что спать не может.

Для нас обоих имело огромное роковое значение, что морфий от Евы. Ева тоже принадлежала к нашей игре, той болезненной игре, которую со вхождением Эрвина и Яноша пришлось сильно изменить. Экстазом всегда было умереть от рук Евы или за Еву. И то что яд дала Ева, окончательно убедило меня, что я должен принять его. Так оно и произошло.

Невозможно передать, как это просто было тогда, как само собой разумелось покончить с собой. К тому же я был пьян, и в то время всегда впадал в такое «всё равно ведь всё равно» от питья. И в тот день оно высвободило во мне того демона на цепи, что, наверно, дремлет в глубине сознания каждого человека, и зовёт его к смерти. Подумай: умереть куда легче и естественней, чем оставаться в живых...

– Лучше рассказывай дальше, – тревожно сказала Эржи.

– Мы расплатились за вино, и пошли гулять, радостно растроганные. Говорили, как любим друг друга, и что эта дружба была самым прекрасным в жизни. Некоторое время мы сидели на берегу Дуная, в Обуде, у рельсов, солнце как раз опустилось в Дунай. И ждали, когда подействует. Но ничего пока не чувствовали.

Внезапно на меня нашло неборимое слёзное желание попроситься с Евой. Сначала Тамаш и слышать об этом не хотел, но потом то чувство, что связывало их с Евой пересилило в нём. Мы сели в трамвай, а потом по ступенькам взбежали в Крепость.

Теперь-то я знаю, что в тот миг, когда мне захотелось увидеть Еву, я уже предал Тамаша и самоубийство. Сам того не сознавая, я рассчитывал, что если мы вернёмся к людям, то они уж как-нибудь да спасут. В подсознании мне не хотелось умирать. Я смертельно устал, как устаёшь только двадцати лет, и тоже тосковал о тайной, тёмной эйфории умирающего, но хмельное чувство гибельности стало рассеиваться, и умирать расхотелось...

У Ульпиусов оказались Эрвин и Янош. Я весело оповестил их, что мы приняли по пятнадцать сантиграмм морфия на брата и вот-вот умрём, но сперва хотим попроситься. Тамаш был уже совсем белый, и его шатало, по мне ничего не было заметно, кроме того, что я перепил, и болтлив, как пьяные. Янош тут же умчался, позвонил в скорую, сообщил, что тут двое молодых людей приняли по пятнадцать сантиграмм морфия.

– Живы ещё? – спросили в скорой.

На утвердительный ответ Яноша ему велели немедленно привезти нас. Янош и Эрвин затолкали нас в такси, и отвезли на улицу Марко. Я всё ещё ничего не чувствовал.

Зато почувствовал в скорой, где мне нещадно промыли желудок и отбили охоту от всякого самоубийства. Кстати, не могу отделаться от ощущения, что то, чем мы себя травили, было не морфием. Или Ева обманула Тамаша, или врач Еву. Тамашу могло стать плохо и от самовнушения.

Еве и мальчикам пришлось всю ночь не спать и следить, чтоб мы не уснули, им там сказали, что если мы уснём, то больше не проснёмся. Странная была ночь. Мы были в сильном замешательстве друг перед другом; и ещё я был счастлив, что стал самоубийцей, крупная сенсация, и был счастлив, что остался жив; такая была чрезвычайно приятная усталость. Мы все очень любили друг друга, и эта их ночь без сна была великим, жертвенным жестом дружбы, и очень шла к нашей тогдашней религиозной и дружеской воодушевлённости. Мы все были растроганы, и вели разговоры во вкусе Достоевского, и пили один чёрный кофе за другим. Такая типично юношеская ночь, на какие повзрослев, невозможно оглядываться без некоторой тошноты. Но Бог знает, похоже, я уже состарился, оглядываюсь, и никакой тошноты, а лишь большая-пребольшая ностальгия.

Один Тамаш не произнёс ни слова, и терпел, покуда мы лили на него холодную воду и щипали, чтоб он не заснул. Тамашу и в самом деле было скверно, к тому же он был раздавлен тем, что снова не удалось. Когда я заговаривал с ним, он отворачивался и не отвечал. Считал предателем. Позже он никогда не заводил речи об этой истории, был так же приветлив и учтив, как раньше, но я-то знаю, что он так и не простил мне. Так и умер, я был ему уже чужим тогда...

На этом Михай умолк, и уткнулся лицом в ладони. Затем встал и уставился из окна в темень. Потом вернулся, и с рассеянной улыбкой гладил Эржи по руке.

– Так до сих пор мучит? – тихо спросила Эржи.

– С тех пор у меня больше не было ни единого друга, – сказал Михай.

Опять оба молчали. Эржи размышляла, от одной ли пьяной сентиментальности Михаю так жаль себя, или в Михае и впрямь что-то оборвалось тогда, у Ульпиусов, и с тех пор он так безразличен к людям, и так далёк от них?

– А с Евой что было? – наконец, спросила она.

– Ева была тогда влюблена в Эрвина.

– И вы не ревновали?

– Нет, находили естественным. Эрвин был гегемоном, мы считали его самым необыкновенным среди нас, и справедливо было, что Ева любит его. К тому же я не был влюблён в Еву, что до Яноша, то кто его знает. Да и компания наша тогда немного распалась. Эрвину и Еве всё более хватало друг друга, и они искали случая остаться вдвоём. А меня всерьёз уже начинали увлекать университет и религиоведение. Я был полон научных амбиций; первая встреча с наукой пьянит так же как любовь.

Но возвращаясь к Эрвину и Еве... Ева стала тогда намного тише, ходила в церковь, к Английским барышням⁶, где когда-то была школьницей. Я уже говорил, что у Эрвина была совершенно необычайная склонность влюбляться, любовь была неотъемлема от него, как от Сепетнеки авантюризм. Мне было понятно, что вблизи него даже Ева не могла оставаться холодна.

Трогательная была любовь, насквозь пропитанная поэзией, будайской крепостью, двадцатилетностью, такая знаешь, любовь, что когда они вдвоём шли по улице, то я едва ли не ждал, что люди сейчас почтительно расступятся перед ними, как когда святыню несут. Как-то весь смысл нашего союза выкристаллизовался в эту любовь. И как скоро всё кончилось! Я так никогда и не узнал, что же такое между ними произошло. Кажется, Эрвин попросил Евиной руки, и старый Ульпиус вышвырнул его. И как Янош слышал, даже влепил ему пощёчину. Но Ева лишь ещё сильнее любила Эрвина, и конечно же, рада была бы стать его любовницей, но для Эрвина шестая заповедь была неумолимой явью. Он стал ещё бледней и молчаливей, чем раньше, к Ульпиусам не приходил больше, и я всё реже виделся с ним; с Евой должно быть тогда и происходила та огромная перемена, сделавшая её позднее столь необъяснимой для меня. Затем в один прекрасный день исчез Эрвин. От Тамаша я узнал, что он ушёл в монахи. Тамаш уничтожил прощальное письмо, в котором Эрвин сообщил ему о своём решении. Знал ли он монашеское имя Эрвина, и где, в каком тот состоит ордене, тайна, которую он унёс с собой в могилу. А может открыл её одной Еве.

Конечно же Эрвин ушёл в монахи не потому, что не мог жениться на Еве. Ведь до этого мы много говорили о монашеской жизни, и я знаю, что религиозность Эрвина была слишком глубока, чтоб уйти в монахи без какого-либо знака внутренней на то готовности, всего лишь из отчаянья или романтики. Конечно же он видел и знак свыше в том, что не мог жениться на Еве. Но во внезапном, похожем на бегство уходе его была наверно немалая доля желанья спастись от Евы, от того искушения, что означала для него Ева. Так он, пусть спасаясь, и пожалуй слегка в духе Иосифа, но всё же совершил то, о чём мы столько мечтали в то время: юность свою нетронутую жертвой посвятил Богу.

– Одного не пойму, – сказала Эржи, – если он, как ты говоришь, был так предрасположен к любви, то зачем он принёс эту жертву?

⁶ Монашеский орден Английских девушек (сёстер Лорето).

– Дорогая, противоположное в душе рядом. Великими аскетами становятся не холодные и бесчувственные люди, а самые пылкие, те кому есть от чего отказываться. Потому Церковь и не берёт в священники кастратов.

– И как же приняла всё это Ева?

– Ева осталась одна, и дальше с ней было не сладить. В то время в Будапеште заправляли контрабандисты и офицеры Антанты. Как-то так вышло, что Ева оказалась в кругу офицеров Антанты. Она знала языки, и в ней не было ничего провинциально-мадьярского, воистину горожанка мирового города. Кажется, она была очень популярна. Из девочки-подростка вдруг преобразилась в диву. Тогда же вместо дружески прямого выражения глаз у неё появился тот, другой взгляд: она всегда смотрела так, как будто вслушивалась при этом в какие-то дальние, тихие голоса. В этот последний период вслед за гегемонией Тамаша и Эрвина наступила гегемония Яноша. Ведь Еве нужны были деньги, чтобы быть элегантной среди элегантных людей. Правда, она очень даже умела шить себе наряды из ничего, но и на ничего нужны были хоть какие-то деньги. И наступал черёд Сепетнеки. Он всегда умел раздобыть деньги для Евы. Знал, откуда. Нередко выуживал их у тех самых офицеров Антанты, с которыми Ева танцевала. Собрал кассу, – цинично говорил он. Но к тому времени мы тоже уже изъяснились цинически, ибо всегда принаравливались к стилю гегемона.

Мне очень не нравились чуждые щепетильности методы Яноша. Не нравилось, например, как однажды он заявился к господину Рейху, старому бухгалтеру с отцовского предприятия, и посредством редкостно путаной истории, ссылаясь на мой карточный долг и намерение покончить с собой, выудил у него вполне себе крупную сумму. Потом, конечно, мне пришлось сознаваться в карточном долге, хотя карт я сроду в руки не брал.

И особенно не нравилось мне, что он украл мои золотые часы. Это произошло в ходе одного весёлого застолья, где-то за городом, в одном модном тогда летнем кабаке, не помню уже, как он назывался. Нас там много было, Евина компания, два-три иностранных офицера, разжившиеся на инфляции молодые люди, странные женщины, в чрезвычайной смелости одежде и повадках тех лет. Чувство гибельности вызывала во мне ещё и наша с Тамашем неуместность в этой компании, среди людей, с которыми у нас не было ничего общего, кроме этого самого чувства, что теперь всё равно уже всё равно. Ведь гибельность тогда уже ощущал не я один, а весь город, это было в воздухе. У людей была прорва денег, и все знали, что зря, что всё пропало, катастрофа висела над этим летним кабаком, как люстра.

Апокалипсические были времена. Не знаю даже, были ли мы трезвы, когда уселись пить. Помню себя пьяным с первого же мгновенья. Тамаш почти не пил, но это всеобщее настроение конца света так совпало с его душевным состоянием, что он был непривычно раскован с людьми и цыганами. Мы много говорили с Тамашем в ту ночь, то есть словами не много, но какая была душевная тяга у слов, что мы говорили, и как мы снова прекрасно понимали друг друга, понимали друг друга в гибельности. И со странными девушками мы тоже прекрасно понимали друг друга, по крайней мере, как мне казалось, мои умствования с лёгким религиозно-ведческим уклоном о кельтах и островах мертвых вызывают живой интерес у театральной студийки, что по большей части сидела около меня. А потом мы с Евой отсели, и я ухаживал за ней так, как будто и не был знаком с нею с самых её худых большеглазых подросточьих лет, и она тоже со всей женской серьёзностью принимала мои ухаживанья, в полусловах и глядя вдаль, в полном блеске тогдашней своей позы.

К рассвету мне сделалось очень дурно, и когда потом я слегка протрезвел, то обнаружил, что у меня пропали золотые часы. Я был ужасно потрясен, и впал в экстатическое отчаянье. Ты пойми: утрата золотых часов сама по себе не такое уж великое несчастье, даже если тебе двадцать, и это твоя единственно ценная вещь на свете. Но когда тебе двадцать, и к рассвету ты трезвеешь оттого, что у тебя украли золотые часы, то ты склонен придать этой утрате глубоко символическое значение. Золотые часы мне подарил отец, который вообще-то был не слишком

щедр на подарки. Говорю же, это была моя единственная ценность, единственно весомая частная собственность, чьё грубое, пошлое и спесивое мещанство олицетворяло для меня всё то, чего я терпеть не мог, но утрата которой, вдруг явленная мне в символической форме, ввергла меня в паническое смятение. Мне казалось, что отныне я навеки обручен с силами зла, что у меня украли самую возможность хоть когда-либо протрезветь и возвратиться в буржуазный мир.

Я прошатался к Тамашу, сообщил ему, что у меня украли золотые часы, сказал, что позвоню в полицию, и скажу хозяину, чтоб запер ворота, надо обыскать всех. Тамаш успокоил меня по-своему:

– Не стоит. Брось. Ну украли. А как же. У тебя всегда всё будут красть. Ты всегда будешь жертвой. Ты же любишь это.

Я обалдело смотрел на него, но и вправду никому ничего не сказал. Пока я пялился на Тамаша, до меня вдруг дошло, что украсть часы мог только Янош Сепетнеки. По ходу вечера была какая-то комедия с переодеваньями, и мы с Сепетнеки поменялись пиджаками и галстуками, вероятно, когда он вернул мне пиджак, часов там уже не было. Я стал искать Сепетнеки, чтоб призвать его к ответу, но он уже ушёл. Не видал я его ни на другой, ни на третий день.

А на четвёртый я уже не стал требовать часы. Ясно было, что если он и в самом деле взял их, то взял потому, что Еве понадобились деньги. И вероятно, с ведома Евы, ведь это Ева затеяла всю штуку с переодеваньем – и та сцена, когда мы с Евой сидели вдвоём, наверно, для того и понадобилась, чтобы я не заметил пропажи. И сообразив о такой возможности, я смирился. Если это ради Евы, значит так надо. Значит и это часть игры, старой игры в доме Ульпиусов.

Тогда-то я и влюбился в Еву.

– Но ведь до сих пор ты изо всех сил отпирался, что когда-либо был в неё влюблён, – заметила Эржи.

– Конечно. И был прав. Просто за неимением лучшего слова я назвал любовью, то что испытывал к Еве. Это чувство ни в чём не походило на то, как я люблю тебя, или как двух-трёх твоих предшественниц, не сердись. Всё оно как есть негатив этого. Тебя я люблю за то, что мы вместе, её за то, что мы были порознь, то что я люблю тебя, даёт мне уверенность в себе и силу, то что я любил её, унижало и уничтожало... конечно, это всего лишь риторические антитезы. Тогда мне казалось, что старая игра становится явью, сбывается и я медленно гибну в этом великом воплощении. Гибну из-за Евы, от её рук, так, как мы разыгрывали это в отрочестве.

Михай встал и нервно заходил по комнате. Теперь, теперь ему становилось не по себе оттого, что он так выдал себя. Эржи... какой-то чужой женщине...

Заговорила Эржи:

– Сначала ты сказал что-то вроде того, что не мог в неё влюбиться, ведь вы слишком хорошо знали друг друга, вам не хватало расстояния, необходимого для любви.

(Вот и хорошо, не поняла, – думал Михай. – Поняла не более того, что доступно первичной нутряной ревности.)

– Хорошо, что ты это отметила, – сказал он успокоившись. – До той памятной ночи и не было расстоянья. Когда мы сидели там вдвоём, как какие-то дама с господином, я обнаружил, что Ева уже совсем другая женщина, чужая, замечательная и прекрасная женщина, притом что неотъемлемо, как и прежняя Ева, несёт в себе большую и тёмную сладость моей юности.

Еве кстати было хоть бы что. Мне редко удавалось увидеть её, но и тогда она не озабочивалась мною. Особенно когда появился серьёзный жених. Один известный, богатый и не особо молодой уже антиквар, который пару раз бывал у Ульпиусов, у старика, видел иногда Еву, и давно уже лелеял планы женитьбы на ней. Старик Ульпиус заявил Еве, что не потерпит никаких протестов. Хватит уже Еве сидеть у него на шее. Пускай замуж идёт, или к чёрту. Ева попросила два месяца отсрочки. Старик, по просьбе жениха, согласился.

Чем меньше Ева обращала на меня внимания, тем больше крепло во мне то, что за неимением лучшего я назвал любовью. Похоже была во мне тогда особая тяга к безнадежному: ночами торчать у её парадного, подстерегая, когда она в сопровождении смеющейся и шумной свиты возвратится домой; запустить учёбу; тратить все деньги на дурацкие подарки, которых она и не замечает толком; слюняйски умиляться, небраво закатывать сцены при встрече – таков был я, и только-то и жил, что тогда, ни одна радость не достигала с тех пор глубины той боли, того счастливого позора, что вот гибнешь из-за неё, а ей и дела нет. Это ли любовь?

(Зачем я это говорю, зачем... опять перепил. Но надо ж было выговориться хоть раз, и Эржи всё равно не поймёт.)

Между тем отсрочка, данная Еве, истекала. Старик Ульпиус иногда вваливался в комнату и закатывал кошмарные сцены. К тому времени он уже не протрезвлялся больше. Появился и жених, в седине, с виноватой улыбкой. Ева попросила ещё неделю. Чтобы съездить с Тамашем, и проститься друг с другом не суетясь. Откуда-то у неё и деньги взялись на поездку.

И уехали, в Гальштат. Стояла поздняя осень, кроме них там не было ни души. Нет ничего смертельней этих старинных курортов. Когда крепость или собор, очень древние, вне времени, осыпаются там-сям, то это в порядке вещей, так им и положено. Но ужасней нет, когда от места, созданного для сиюминутных радостей, веет тленом, от кафе, скажем, или от аллеи в лечебнице...

– Ладно, сказала Эржи, – рассказывай дальше. Что стало с Ульпиусами?

– Дорогая, потому я и тянул и философствовал, что с тех самых пор не знаю, что стало с ними дальше. Больше я их никогда не видел. Тамаш Ульпиус отравился в Гальштате. На этот раз удалось.

– А что стало с Евой?

– Как была она причастна к смерти Тамаша? Наверно никак. Откуда мне знать. Больше она не возвращалась. Говорят, после смерти Тамаша за ней приехал какой-то высокопоставленный иностранный офицер, и увёз её.

Наверно, я мог бы встретиться с ней. В последующие годы нашёлся бы случай. Янош появлялся время от времени, туманно намекал, что мог бы устроить мне встречу с Евой, если я оценю его услугу. Но тогда я не хотел уже видеться с Евой; потому Янош и сказал сейчас, что я сам виноват, что разминулся со своей юностью, а ведь стоило только руку протянуть... Он прав. Когда Тамаш умер, я думал, что сойду с ума – а потом решил, что изменюсь, вырвусь из этих чар, не хочу, чтоб и со мной вышло как с Тамашем, что стану порядочным человеком. Я бросил университет, выучился отцовской профессии, уехал за границу, чтобы лучше разобраться в делах, потом вернулся, и старался быть как все.

Что до дома Ульпиусов, то не зря он представлялся мне таким гибельным, – пропало всё, ничего от него не осталось. Старик Ульпиус недолго прожил после того. Прибили, когда однажды он пьяным возвращался домой из кабака на окраине. Дом ещё до этого купил какой-то богач по фамилии Мунк, приятель и коллега моего отца, я даже был у них там однажды, ужас... Они его прекрасно обставили, старинней, чем в жизни. Флорентийский колодец посреди двора. Дедушкина комната стала старонемецкой столовой, с дубовой отделкой. А наша комната... Боже мой, они разделали её под мадьярский постоялый двор или чего-то там такое, с расписными сундуками, кувшинами и безделками. Комнату Тамаша! Сама брэнность... Боже святой, до чего поздно! Не сердись, дорогая, должен же был я когда-то рассказать... как по-дурацки это, может, ни звучит, так вот со стороны... а теперь пойду прилягу.

– Михай, ты обещал сказать, как умер Тамаш Ульпиус. И не сказал, ни почему он умер тоже.

– Не рассказал как умер, я ведь и сам не знаю. А почему умер? Хм. Ну, может, жить надоело, нет? Жизнь ведь очень может надоест, нет?

– Нет. Но спать пора. Очень поздно уже.

5

С Флоренцией им не повезло. Всё время, что они пробыли там, шёл дождь. Они стояли перед Домским собором в плащах, и Михай вдруг рассмеялся. Внезапно до него дошёл весь трагизм Домского собора. Стоит себе тут в несравненной красе, и никто не принимает его всерьёз. Он стал достопримечательностью для туристов и искусствоведов, и никому и в голову не придёт, и никто б ему уже и не поверил, что он тут для того, чтоб возвещать славу Богу и городу.

Они взобрались на Фьезоле и смотрели, как с важничающей поспешностью гроза рванула сквозь горы напролом, лишь бы успеть нагнать их. Они укрылись в монастыре, и пересмотрели кучу восточной дребедени, что кроткие монахи за столетья навезли домой из своих миссий. Михай долго любовался серией китайских картин, о которой лишь по прошествии времени уяснил, что же она изображает. В верхней части каждой из картин восседал на троне какой-то злобный и страшный китаец, с большой книгой перед собой. Особенно пугающим лицо его делали волосы дыбом над висками. А в нижней части картин вершились всякие ужасающие вещи: людей вилами швыряли в какую-то неприятную жидкость, кое-кому как раз перепиливали ногу, из кого-то как раз усердно волокли наружу канатоподобные кишки, в одном месте устройство вроде автомобиля, им управлял урод с волосами, зачёсанными от висков кверху, врезалось в толпу, и вращающиеся топорики, укреплённые на носу механизма, разделявали людей.

Он сообразил, что это Страшный суд, каким он видится китайцу-христианину. Каково знание предмета и непредвзятость!

Голова закружилась, и он вышел на площадь. Такой очаровательный из окна поезда, пейзаж между Болоньей и Флоренцией теперь был мокрым и отталкивающим, как женщина, когда она плачет, и краска потекла.

По возвращении Михай пошёл на главный почтамт; сюда им слали письма, с тех пор как они выехали из Венеции. На одном из адресованных ему конвертов он узнал почерк Золтана Патаки, первого мужа Эржи. Может там что-то такое, чего Эржи не следовало бы читать, подумал он и присел с письмом у какого-то кафе. Вот она, мужская солидарность, думал он с улыбкой.

Письмо гласило:

Дорогой Михай,

знаю хорошо, рвотная несколько штука писать тебе длинное и дружеское письмо, после того как ты «соблазнил и увёл» мою жену, но ты никогда не был человеком конвенций, так что может тебя и не покоробит, если я, хоть ты и называл меня старым конформистом, хоть раз и вправду тоже пренебрегу управляющими нашим поведением правилами. Пишу тебе, ибо иначе не мог бы быть спокоен. Пишу тебе, ибо честно сознаться, не знаю, почему б мне не писать, ведь оба мы прекрасно знаем, что я не держу зла на тебя. Ну а видимость сохраним для публики, самолюбиво Эржи наверняка приятней романтическая установка, согласно которой мы с тобой из-за неё смертельные враги, но между нами, мой Михай, ты ведь прекрасно знаешь, что я всегда высоко ценил тебя, чего не меняет тот факт, что ты соблазнил и увёл мою жену. Не то чтобы «по поступок» твой не подкосил меня, ведь – и зачем бы мне было скрывать это от тебя – хотя конечно и это пусть

останется между нами, – я и теперь обожаю Эржи. Но понимаю, что ты тут ни при чём. Я вообще-то, не сердись, не думаю, чтобы ты был при чём-либо на этом свете.

И как раз потому и пишу тебе. Честно сознаться, я немного тревожусь за Эржи. Видишь ли, я за столько лет привык заботиться о ней, вечно держать в уме, что должен обеспечивать её всем нужным, и главным образом ненужным, следить, достаточно ли тепло она одета, когда вечером выходит: теперь вот не могу вдруг взять и отвыкнуть от той тревоги. Тревога эта и есть то, чем я так привязан к Эржи. Сознаюсь тебе, недавно мне такой дурацкий сон приснился: приснилось, что Эржи высунулась в окно, да так, что не подхвати я её, она б выпала. И тогда мне пришло в голову, что я не уверен, заметил ли бы ты, если б Эржи очень высунулась из окна, ты ведь так рассеян и погружен в себя. Вот я и решил попросить тебя о нескольких вещах, за чем надо бы особенно последить, записал себе на листке, что в голову пришло. Не сердись, я ведь гораздо дальше знаю Эржи, чем ты, и это даёт определённые права.

*1. Следи, чтобы Эржи ела. Эржи (может ты и сам уже догадался) очень боится располнеть, иногда этот страх находит на неё панически, и тогда она днями не ест, и потом у неё бывает сильная изжога, а это сказывается на нервах. Я так подумал, может её вдохновит на еду, что у тебя *inberufen*⁷ такой хороший аппетит. Я, увы, закоренелый язвенник, и не мог послужить ей добрым примером.*

2. Следи за маникюрщицами. Если в дороге Эржи захочет сделать маникюр, возьми на себя заботы о маникюрщице, и обращай только в лучшие ателье. Справься у портье в гостинице. Эржи в этом на редкость чувствительна, сколько раз уже было, что у неё из-за неловкости маникюрщицы воспалялся палец. Чему конечно и ты не был бы рад.

3. Не давай Эржи рано вставать. Знаю, что в поездке соблазн велик, когда мы последний раз были в Италии, я и сам совершал эту ошибку, ведь итальянские междугородние автобусы выходят очень рано. Плюнь ты на эти автобусы. Эржи поздно засыпает и поздно просыпается. Ранний подъем очень ей вредит, днями в себя придти не может.

*4. Не позволяй ей есть *scampi, frutti di mare* или какую-либо иную водяную нечисть, у неё от этого сыпь.*

5. Очень деликатная вещь, не знаю даже, как написать. Следовало бы наверно предположить, что ты и сам это знаешь, хотя не знаю, знают ли люди столь отвлеченного, философического склада об этом, о бесконечной хрупкости женской природы, и как властвуют над ней определённые физические явления. Прошу тебя, хорошо запоминай сроки Эржи. За неделю до наступления будь к ней снисходителен и терпелив до крайности. В это время она не вполне вменяема. Ищет перебранки. Самое умное, если ты и в самом деле пойдешь на перебранку с ней, это снимает напряжение. Но не ссорься всерьёз. Подумай, дело ведь в физиологическом или как его, процессе. Не впадай в раж, не говори такого, о чём позже пожалел бы, а главное, не позволяй, чтоб Эржи говорила то, о чем сама потом очень будет жалеть, и это тоже на нервах сказывается.

⁷ *Чтоб не сглазить* – будничней, особенно до войны пештский германизм, аналог одесского *нивроку*.

Не сердись. Надо бы написать еще о тысяче вещей, тысяче мелочей, которые тебе надо бы держать в уме – это только самое важное, – но так оно в голову не приходит, у меня ни капли воображения. И всё же, не стану отрицать, я очень тревожусь, и не только потому, что знаю Эржи, а главным образом потому, что знаю тебя. Прошу тебя, не пойми меня превратно. Если б я был женщиной, и мне пришлось бы выбирать между нами двумя, я не колеблясь выбрал бы тебя, и Эржи наверняка то и любит в тебе, что ты такой, какой ты есть, такой бесконечно дальний и отрешённый, что тебе ни до кого и ни до чего нет дела, как иностранцу проездом или марсианину на этой земле; что ты ничего не умеешь запомнить точно, что ты ни на кого не умеешь сердиться всерьёз, что ты не умеешь слушать, когда другие говорят, что ты скорее из добрых намерений и вежливости поступаешь иногда так, как если бы был человеком. Говорю ведь, все это прекрасно вполне, и я тоже очень ценил бы это, будь я женщиной, тревожит лишь, что ко всему прочему теперь ты всё-таки муж Эржи. И Эржи привыкла, чтобы муж заботился о ней во всех отношениях, берёт от малейшего ветерка, чтобы ей не приходилось думать ни о чём, кроме духовной, душевной жизни и не в последнюю очередь об уходе за телом. Роскошь у Эржи в природе, её так дома воспитали, я уважал в ней это – и не знаю, не придётся ли ей рядом с тобой взглянуть в глаза той реальности, которую отец её и я тщательно скрывали от неё.

*Вынужден коснуться еще одной деликатной темы. Я прекрасно знаю, что ты, и твой отец, на предприятии которого ты занят, люди состоятельные, и жена твоя не будет испытывать нужды ни в чём. И всё же тревожусь иногда, я ведь знаю, как избалована Эржи, и опасаясь, что человек столь отрешённый как ты, навряд ли представляет себе по-настоящему её запросы. Сам ты, знаю, обаятельно, по-богемному непритязателен, всегда жил очень скромно, не с тем размахом, к какому привыкла Эржи. Так вот, кому-то из вас придётся приноравливаться к жизненным стандартам другого. Если Эржи приноравливается к твоим, то рано или поздно это плохо кончится, она почувствует себя *déclassée* при первом же соприкосновении с прежней средой. Скажем, встречаетесь вы в Италии с её давней подругой, и та поморщилась, услышав, что вы остановились в не вполне перворазрядном отеле. Вторая возможность, если ты приноравливаешься к её стандартам; рано или поздно это возымеет материальные последствия, ибо – не сердись – я вероятно лучше осведомлен об устойчивости вашего предприятия, чем ты, натура столь отрешенная, к тому же вас четверо детей в семье, и твой дражайший родитель несколько консервативный господин весьма строгих взглядов, и скорее на стороне бережливости, чем растратничества доходов... короче, не в том ты положении, чтобы живя с тобой, Эржи могла бы держаться привычных ей стандартов. И поскольку мне по душе было бы, если бы Эржи и рядом с тобой не испытывала стеснения ни в чём, то очень прошу тебя, не сочти за бестактность, если я заявлю, что в случае необходимости, я безусловно к твоим услугам, если угодно, и в части долгосрочного кредита в том числе. Сознаю, охотней всего я платил бы ежемесячную сумму, но понимаю, что это наглость. И всё же я должен довести до твоего сведения: когда бы ни понадобилось, пожалуйста, обращайся ко мне.*

Прошу тебя, не сердись. Я обыкновенный деловой человек, и иного дела, кроме как деньги зарабатывать, у меня и нет, а с этим я, слава богу, справляюсь вполне. И полагаю по справедливости вправе тратить свои деньги на кого заблагорассудится, не так ли?

Так что ещё раз, nichts für ungut⁸.

*Удачи тебе, с приятнью, истинный твой почитатель,
Золтан.*

Письмо привело Михая в бешенство. Мутило от немужской «доброты» Патаки, да и какая там доброта, недостаток мужества, и только, а если и доброта, то тем хуже, Михай вообще не был высокого мнения о доброте. И эта учтивость! Чего там, как Патаки ни богатеи, а приказчик остаётся приказчиком.

И это его, Золтана Патаки, дело и забота, если он до сих пор влюблён в Эржи, которая прескверно обошлась с ним. Взбесило его в письме не это, а то, что касалось его и Эржи.

Во-первых о денежной стороне. К «экономической необходимости» Михай относился с безмерным пиететом. Может как раз потому, что не имел к ней ни малейшего чутья. Если кто-то говорил ему, что «вынужден был поступить так-то и так-то из материальных соображений», то Михай тут же умолкал, находя оправданной любую низость. Потому-то и беспокоил его чрезвычайно этот аспект вещей, и прежде уже всплывавший наружу, просто Эржи всякий раз отшучивалась, что ей де, Эржи, материально не повезло с ним, до этого она была замужем за богатым человеком, а теперь за средней руки буржуа, и что рано или поздно это ей вылезет боком, что трезвому и знающему в деньгах толк Золтану Патаки уже ясно вполне.

И сразу на ум пришла куча вещей, которые и прежде, и во время свадебного путешествия заостряли разницу их жизненных стандартов. Вот сразу же, чтоб не ходить далеко, гостиница, в которой они жили. Михай, убедившись в Венеции, а затем в Равенне, насколько Эржи лучше него говорит по-итальянски, и насколько легче ей разговаривать с портье, заведомо наводившими на него ужас, во Флоренции полностью уже переложил на неё заботы о гостинице и прочем земном. На что Эржи тут же сняла комнату в старой, но довольно дорогой гостинице на берегу Арно, с тем, что раз уж ты во Флоренции, то жить следует непременно на берегу Арно. Цена комнаты – Михай смутно ощущал это, считать ему было лень – никак не соразмерялась с суммой, предназначавшейся ими для путешествия по Италии, комната была много дороже той, что они снимали в Венеции, и свыкшееся с бережливостью сердце Михая кольнуло на миг. После чего он с отвращением отогнал от себя это мелкое чувство. – В конце концов мы в свадебном путешествии, – сказал он про себя, и больше не думал об этом. Но теперь, когда он прочёл письмо Патаки, припомнилось и это, как симптом.

Но хуже всего обстояло дело не с материальной, а с моральной стороной дела... Когда после полугода мучительных сомнений Михай принял решение увести от супруга Эржи, с которой к тому времени год уже как находился в связи, и жениться на ней, то отважился на этот исполненный последствий шаг чтобы «искупить всё», а также чтобы посредством серьёзного брака окончательно встать в ряды взрослых, серьёзных людей, чтобы быть на равных хоть с тем же Золтаном Патаки, например. Потому он и поклялся себе с самого начала изо всех сил стараться быть хорошим мужем. Ему хотелось заставить Эржи забыть, какого хорошего мужа она бросает ради него, и вообще задним числом, до самого отрочества «хотелось искупить всё». Теперь письмо Патаки убедило его в безнадежности предприятия. Никогда не быть ему таким хорошим мужем как Золтан Патаки, который, вот, и неверную и далёкую, и на расстоянии умеет защитить жену и чутче, и умелей чем он, тут рядом, хорош защитник, заботы о гостинице и прочем земном и то спихнул на Эржи, под тем насквозь прозрачным предлогом, что она, де, лучше него знает итальянский.

⁸ Не в обиду будь сказано – тоже довоенно-пештское.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.